



Роберт Луис Стивенсон

Потерпевшие кораблекрушение



Перевод с английского
Татьяны Озерской

ФТМ



Роберт Льюис Стивенсон
Потерпевшие кораблекрушение

«ФТМ»

1892

Стивенсон Р.

Потерпевшие кораблекрушение / Р. Стивенсон — «ФТМ», 1892

ISBN 978-5-4467-2815-2

«Вам известно, что скрывается здесь за каждой маской. И, если вам не понравится эта повесть, все-таки я думаю, вам будет приятно вдохнуть воздух нашей юности» нашей юности», – только сердце истинного авантюриста, уставшее от размеренной жизни в лондонском обществе, может заставить заскучавшего денди внезапно купить корабль и отправиться на поиски призрачных кладов, чтобы наполнить свою жизнь настоящими приключениями. Такой выбор главных героев-авантюристов ставит роман «Потерпевшие кораблекрушение» шотландского писателя и поэта Роберта Луиса Стивенсона (1850–1894) в переводе Татьяны Озерской в один ряд с такими шедеврами приключенческой литературы писателя, как «Остров сокровищ» или «Приключения принца Флоризеля».

ISBN 978-5-4467-2815-2

© Стивенсон Р., 1892

© ФТМ, 1892

Содержание

Пролог	5
Рассказ Лаудена	12
Глава I	12
Глава II	19
Глава III	25
Глава IV,	33
Глава V,	40
Глава VI,	48
Глава VII	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Роберт Стивенсон

Потерпевшие кораблекрушение

Пролог

На Маркизских островах

Было три часа зимнего дня в Таихоаэ, французской столице и главном порту Маркизских островов. Дул сильный шквалистый пассат, грохочущий прибой разбивался на крупной гальке пологого берега, и пятидесятитонная шхуна – военный корабль, олицетворяющий достоинство и влияние Франции на этом каннибальском архипелаге, – прыгала на волнах у своего причала под Тюремным Холмом. Низкие, черные тучи закрывали вершины поднимающихся амфитеатром гор; около полудня прошел сильный дождь – настоящий тропический ливень, когда вода падает с неба сплошной стеной, – и по темно-зеленым склонам все еще вились серебристые нити потоков.

На этих островах с жарким и здоровым климатом зима – только пустое название. Дождь не освежил жителей Таихоаэ, и ветер не принес им бодрости. Правда, на одной из окраин комендант лично наблюдал за работами, производившимися в его саду, и садовники – все до одного каторжники – волей-неволей продолжали трудиться, но все прочие обитатели городка предавались послеобеденному отдыху и сну: Вайкеху, туземная королева, почивала в своем прелестном домике под сенью шелестящих пальм, комиссар с Таити – в своей осененной флагами официальной резиденции, торговцы – в своих опустевших лавках, и даже клубный слуга крепко спал в помещении клуба, уронив голову на буфетную стойку, над которой были прибиты визитные карточки морских офицеров и карта мира. На протянувшейся вдоль берега единственной улице городка, где в благодатной тени пальм и в густых зарослях пурао прятались дощатые домики, не было видно ни души. Только на конце разошедшегося причала, который некогда (в дни краткого процветания восставших Южных Штатов) стонал под тяжестью тюков хлопка, на куче мусора примостился знаменитый татуированный европеец – живая диковинка Таихоаэ.

Он не спал – его взгляд был устремлен на бухту. Он смотрел на горный отрог, переходящий у горловины бухты в цепь невысоких утесов, на белую кипящую полосу прибоя у двух островков, между которыми в узком просвете виднелись на синем горизонте туманные вершины крутых гор острова Хуапу. Однако внимание его не задерживалось на этих давно знакомых чертах ландшафта. Он был погружен в то дремотное состояние, когда сон граничит с явью, и в памяти его всплывали разрозненные картины прошлого: лица туземцев и белых – шкиперов, старших помощников, местных царьков и вождей проходили перед его глазами и снова исчезали в небытии; он вспоминал старые путешествия, забытые пейзажи, освещенные первыми лучами зари; он снова слышал грохот барабанов, сзывающих на каннибальское пиршество; быть может, он вспоминал темнокожую принцессу, из любви к которой подвергся мучительной пытке татуирования, а теперь сидел на мусорной куче в конце причала порта Таихоаэ – бездомный бродяга-европеец. А быть может, на память ему приходило еще более далекое прошлое, и он снова слышал звуки и ощущал запахи родной Англии, своего детства: веселый перезвон соборных колоколов, аромат цветущего вереска, нежную песню реки у плотины.

У входа в бухту – опасные воды, и корабль можно провести только совсем рядом с островками, так что с него легко добросить до берега сухарь. И вот, пока татуированный европеец дремал и грезил о прошлом, из-за оконечности западного островка выдвинулся надутый ветром кливер – зрелище, которое мгновенно заставило его очнуться. Затем показались два

стакселя, и, прежде чем татуированный европеец успел вскочить на ноги, топсельная шхуна круто легла к ветру и, обогнув островок, курсом бейдевинд вошла в бухту.

Сонный городок пробудился, как по волшебству. Со всех сторон высыпали туземцы, приветствуя друг друга радостным криком «эхиппи» – корабль; королева вышла на веранду и стала вглядываться в бухту, прикрыв глаза рукой, являвшей собою чудо высокого искусства татуировки; комендант, забыв о своих садовниках, бросился в дом за подозрительной трубой; семнадцать бронзовых канаков, во главе с боцманом-французом составлявшие команду военной шхуны, столпились на ее баке, а все англичане, американцы, немцы, поляки, корсиканцы и шотландцы – торговцы и правительственные чиновники в Таиохаэ, – оставив свои лавки и конторы, по обычаю начали собираться на улице перед клубом.

Расстояния в городке были так малы, и вся дюжина его белых обитателей собралась поэтому так быстро, что они успели уже обменяться догадками относительно национальности и цели плавания неизвестной шхуны, прежде чем она продвинулась на полкабельтова по направлению к якорной стоянке. Через мгновение на клотике ее грот-мачты взвился английский флаг.

– Я же говорил, что это англичане – сразу узнал по стакселям! – воскликнул старый, но еще бодрый моряк, который с полным на то правом (если бы ему удалось найти незнакомых с его биографией судовладельцев) мог бы опять украсить своей персоной еще один капитанский мостик и разбить еще один корабль.

– Но ее корпус американской формы, этого вы отрицать не станете, – заметил пронзительный шотландец – механик с хлопкоочистительной фабрики. – По-моему, это яхта.

– Вот-вот, – сказал старый моряк, – именно яхта. Поглядите-ка на ее шлюпбалки и гичку, подвешенную за кормой.

– Яхта, как бы не так! – отозвался голос, несомненно, принадлежавшей уроженцу Глазго. – Она же несет флаг английского торгового флота! Яхта! Еще чего!

– Во всяком случае, вы можете запереть лавку, Том, – заметил холеный немец и добавил, обращаясь к проезжавшему мимо на красивой гнедой лошади туземцу с тонким и умным лицом: – *Bonjour, mon Prince! Vous allez boire une verre de biere?*¹

Однако принц Станилас Моанатини – единственный по-настоящему занятый человек на острове – торопился осмотреть оползень, заваливший утром горную дорогу. Солнце уже клонилось к закату, скоро должны были спуститься сумерки, и если он хотел избежать опасностей, которые таят в себе мрак и невидимые пропасти, и страха перед призраками, населяющими джунгли, то не мог принять любезное приглашение. Впрочем, если он даже и собирался спешиться, тут же выяснилось, что угостить его будет нечем.

– Пива! – вскричал уроженец Глазго. – Как бы не так! В клубе осталось всего восемь бутылок! А я еще ни разу не видел в этом порту судна под английским флагом! Его капитан и должен выпить это пиво.

Это предложение показалось всем присутствующим вполне справедливым, хотя и не вызвало особого восторга: вот уже несколько дней самое слово «пиво» наводило тоску на членов клуба, которые каждый вечер уныло подсчитывали оставшиеся бутылки.

– А вот и Хэвенс! – сказал кто-то, словно обрадовавшись возможности переменить тему. – Ну-ка, Хэвенс, что вы думаете об этом корабле?

– Я не думаю, – ответил Хэвенс, высокий, невозмутимый, медлительный, облаченный в белоснежный полотняный костюм англичанин, закуривая папиросу, – я знаю. Он должен доставить мне груз от оклэндской фирмы «Дональд и Эденборо». Я как раз собираюсь отправиться на него.

– А что это за корабль? – спросил старый морской волк.

¹ Здравствуйте, принц! Не выпьете ли стакан пива? (франц.).

– Не имею ни малейшего представления. Какой-нибудь трамп,² который они зафрахтовали.

С этими словами Хэвенс прошествовал дальше и скоро уже сидел на корме вельбота, там, где он был в безопасности от брызг, грозивших испортить безупречную свежесть его костюма, и отдавал команды буйным канакам негромким, вежливым голосом, что не мешало им подойти к борту шхуны с большой лихостью и точностью.

У трапа его встретил загорелый, обветренный капитан.

– По-моему, ваш груз адресован нам, – сказал англичанин. – Моя фамилия Хэвенс.

– Совершенно справедливо, сэр, – ответил капитан, обмениваясь с ним – рукопожатием. – Владелец, мистер Додд, ждет вас в каюте... Осторожнее, рубка только что окрашена.

Хэвенс вступил в узкий проход между рубкой и бортом и спустился по трапу в салон.

– Мистер Додд, если не ошибаюсь? – сказал он, обращаясь к невысокому бородавчому человеку, который что-то писал за столом. И тут же воскликнул: – Да это же Лауден Додд!

– Он самый, милый друг, – радостно ответил мистер Додд, вскакивая на ноги. – Прочитав вашу фамилию во фрагтовых документах, я так и надеялся, что это будете вы! Ну, в вас не заметно никаких перемен: все тот же невозмутимый, подтянутый британец.

– Зато вы переменялись, – ответил Хэвенс. – Вы, кажется, сами стали британцем?

– О нет, – возразил Додд. – Красная скатерть на верхушке мачты – это флаг моего компаньона. Но сам он в делах не участвует. Вот он. – И Додд указал на бюст, составлявший одно из многочисленных и весьма необычных украшений этой оригинальной каюты.

– Прекрасный бюст! – заметил Хэвенс, бросив на него вежливый взгляд.

– Судя по лицу, ваш компаньон – приятный человек.

– И даже очень, – отозвался Додд. – Собственно, он глава нашего предприятия. Это он его финансирует.

– И, кажется, он в деньгах особенно не стеснен, – сказал его собеседник, со все возрастающим изумлением осматривая каюту.

– Его деньги, мой вкус, – объяснил Додд. – Книжный шкаф из черного ореха – антикварная редкость; книги все мои – в основном это писатели французского Возрождения. Видели бы вы, как отскакивают от них скучающие жители здешних островов, когда подходят к шкафу, рассчитывая поживиться чем-нибудь получше библиотечных романов! Зеркала настоящие венецианские; вон то в углу – очень недурной образчик. Мазня – моя и его, лепка – только моя.

– Лепка? А что это такое? – спросил Хэвенс.

– Вот эти бюсты, – ответил Додд. – В молодости я ведь был скульптором.

– Да, я – об этом слышал. А кроме того, вы, по-моему, упоминали, что интересовались недвижимостью в Калифорнии.

– Неужели я утверждал что-либо подобное? – удивился Додд. – «Интересовался» – это не то слово. «Был втянут в спекуляции» – гораздо ближе к истине. Как бы то ни было, я прирожденный художник: меня никогда ничто, кроме искусства, не интересовало. Если бы я завтра разбил эту посудину, – добавил он помолчав, – я, пожалуй, опять занялся бы искусством!

– Ваш корабль застрахован? – осведомился Хэвенс.

– Да, – ответил Додд. – Есть во Фриско дурак, который согласился застраховать его и забирает львиную долю наших прибылей, но мы с ним еще посчитаемся.

– Груз, я полагаю, в полном порядке? – заметил Хэвенс.

– Да, наверное, – ответил Додд. – Займемся документами?

² Траппы – грузовые суда, плавающие не по определенным линиям, а в зависимости от полученного фрахта.

– У нас для этого будет весь завтрашний день, – сказал Хэвенс. – А пока вас ждут не дождутся в нашем клубе. C'est l'heure de l'absinthe.³ А потом, Лауден, вы, разумеется, пообедаете у меня?

Мистер Додд охотно выразил согласие, надел белую куртку – не без некоторого труда, потому что он был уже в годах и довольно толст, – расчесал бороду и усы перед одним из венецианских зеркал и, взяв фетровую шляпу с большими полями, вывел своего посетителя через помещение конторы на шкафут.

У борта их ждала кормовая шлюпка, очень изящная, с мягкими сиденьями и отделкой из полированного красного дерева.

– Садитесь за руль, – предложил Лауден. – Вы ведь знаете, где здесь удобнее всего пристать.

– Не люблю править чужими лодками, – возразил Хэвенс.

– Считайте ее лодкой моего компаньона, и мы с вами окажемся в одинаковом положении, – посоветовал Лауден, легко спускаясь по трапу.

Хэвенс последовал за ним и без дальнейших возражений взял румпель-штерты.

– Не понимаю, каким образом вам удастся извлекать доходы из вашей шхуны, – заметил он. – Во-первых, она, на мой взгляд, великовата для торговли по архипелагам, а во-вторых, слишком роскошно отделана.

– Я не так уж уверен, что мы действительно извлекаем из нее доходы, – возразил Лауден. – Я ведь отнюдь не деловой человек. Мой компаньон, кажется, доволен, а деньги, как я вам уже говорил, принадлежат ему. Я вкладываю в дело только отсутствие коммерческого опыта.

– Полагаю, ваши обязанности вам по душе? – осведомился Хэвенс.

– Да, как ни странно, очень, – ответил Лауден.

Пока они пересекали гладь бухты, солнце зашло за горизонт, на военной шхуне раздался сигнальный выстрел пушки (точнее говоря, это было ружье) и был спущен флаг. Шлюпка пристала к берегу в уже сгущающихся сумерках, и на низкой веранде «Сёркль Интернасьональ»⁴ (как официально и не без оснований назывался клуб) засветились многочисленные лампы. Наступили самые приятные часы суток: исчезли назойливые, больно жалящие мушки; повеял прохладный береговой бриз, и члены «Сёркль Интернасьональ» собрались в клубе поболтать и выпить стаканчик-другой. Мистер Лауден Додд был официально представлен коменданту острова; партнеру коменданта по бильярду – торговцу с соседнего острова и почетному члену клуба, который начал свою карьеру помощником плотника на борту военного корабля северян; портовому доктору; начальнику жандармов; владельцу опийной плантации и всем остальным людям с белой кожей, которых прихоти торговли или кораблекрушений, а может быть, просто нежелание служить в военном флоте забросили в Таиохаэ. Благодаря своей располагающей внешности и любезным манерам, а также умению красноречиво изъясняться как на английском, так и на французском языках Лауден всем очень понравился. Вскоре на столе возле него уже стояла одна из восьми последних бутылок пива, а сам он оказался довольно молчаливой центральной фигурой оживленно болтающей группы.

Разговоры в Южных Морях все на один образец: океан здесь огромен, но мир мал; вначале непременно будет упомянут Забияка Хейс, герой-моряк, чьи подвиги и вполне заслуженный конец остались совершенно неизвестными Европе; потом будет затронут вопрос о торговле копррой или жемчугом, а может быть, хлопком или губками, но очень небрежно, словно он никого особенно не интересует; то и дело будут упоминаться названия шхун и фамилии их капитанов, а затем собеседники обменяются новостями о последнем кораблекрушении и обстоятельно их обсудят. Человеку новому эти разговоры сначала не покажутся особенно инте-

³ Сейчас время выпить (франц.).

⁴ Международный кружок (франц.).

ресными, но, когда он проживет в мире островов год или два и перевидаёт немало шхун, так что фамилия каждого капитана будет вызывать в его памяти определенную фигуру, облаченную в пижаму или парусиновый костюм, да к тому же привыкнет к снисходительности, с которой (в память мистера Хейса) относятся здесь к таким видам человеческой деятельности, как контрабанда, нарочно устроенное кораблекрушение, баратрия,⁵ пиратство, насильственная вербовка рабочей силы и прочее, он убедится, что беседы в клубах Полинезии не менее остроумны и поучительны, чем разговоры в подобных же заведениях Лондона и Парижа.

Хотя мистер Лауден Додд и прибыл на Маркизские острова впервые, он был старым, просоленным торговцем Южных Морей; он знал множество кораблей и их капитанов; ему приходилось на других архипелагах присутствовать при зарождении предприятия, о конце которого шел рассказ, или, наоборот, он мог сообщить о дальнейшем развитии событий, начавшихся в Таихоаэ. Среди прочих интересных новостей – например, о появлении в здешних водах новых лиц – он сообщил также о кораблекрушении. «Джон Ричарде» разделил судьбу многих других островных шхун.

– Дикинсон выбросил ее на остров Пальмерстона, – возвестил Додд.

– А кто владельцы? – спросил один из его собеседников.

– О, как обычно, «Кепсикум и К°».

Все переглянулись с многозначительной улыбкой, и Лауден, пожалуй, выразил общее мнение, сказав:

– Вот, говорят, есть выгодные дела! Что может быть выгоднее застрахованной шхуны, опытного капитана и крепкого, надежного рифа?

– Выгодных дел не существует! – заметил уроженец Глазго. – Никто, кроме миссионеров, не получает барышей.

– Ну, не знаю, – возразил кто-то. – Опиум приносит недурную прибыль.

– Неплохо также подобраться к жемчужной отмели, где ловля запрещена, так году на четвертом, обчистить лагуну и удрать на всех парусах, пока французы не спохватились.

– Неплохо золота самородок отыскать, – вставил какой-то немец.

– Купить потерпевший крушение корабль тоже иной раз сделка недурная, – сказал Хэвенс. – Помните этого человека из Гонолулу и бриг, который выбросило на рифы Вайкики? Ветер был крепкий, и бриг начало ломать, не успел он как следует сесть на днище. Агент «Ллойда» продал его меньше чем через час, и до темноты, когда корабль наконец разбило в щепы, покупатель успел обеспечить себе безбедную жизнь, а если бы солнце зашло на три часа позже, он мог бы совсем удалиться от дел. Но и так он построил себе дом на улице Беретания и назвал его в честь этого корабля.

– Да, порой на кораблекрушении можно недурно нажиться, – сказал уроженец Глазго, – но далеко не всегда.

– Ну, это общее правило – выгодные дела встречаются редко, – ответил Хэвенс.

– Согласен, – продолжал шотландец. – А я мечтаю узнать тайну какого-нибудь богача и поприжать его как следует.

– Полагаю, вам известно, что такого рода способы среди порядочных людей неупотребительны? – возразил Хэвенс.

– Это меня не интересует, мне такой способ вполне подходит, – невозмутимо отозвался шотландец из Глазго. – Беда только в том, что подходящих секретов в Южных Морях не узнаешь. Их надо искать в Лондоне или в Париже.

– Мак-Гиббон начитался бульварных романов, – сказал кто-то.

– Он читал «Аврору Флорид», – добавили из другого угла.

⁵ Баратрия – умышленное уничтожение застрахованного имущества с целью получить страховую сумму.

– Ну и что? – возразил Мак-Гиббон. – Ведь это же правда. Почитайте-ка газеты! Вы хихикаете только из-за своего тупоголового невежества. А на мой взгляд, шантаж – такое же ремесло, как страхование, только в сто раз честнее.

Начавшаяся перепалка заставила Лаудена, который больше всего на свете ценил мир и спокойствие, поспешно вмешаться в разговор.

– Как ни странно, – сказал он, – но мне на своем веку пришлось испытать все эти способы добывания хлеба насущного.

– Вы имели самородок найти? – жадно спросил немец, изъяснявшийся на ломаном языке.

– Нет, – ответил Лауден. – Я занимался всякими глупостями, но все-таки не золотоискательством. Любой дурости есть предел.

– Ну, а контрабандной торговлей опиумом вы занимались? – поинтересовался кто-то еще.

– Занимался, – ответил Лауден.

– Выгодное дело?

– Еще какое!

– И покупали разбившийся корабль?

– Да, сэр, – ответил Лауден.

– Ну, и что из этого вышло?

– Видите ли, этот корабль был особого сорта, – объяснил Лауден. – По чести говоря, я бы никому не советовал заниматься этим видом деятельности.

– А что, его разбило в щепы на мели?

– Вернее будет сказать, что из-за него на мели оказался я, – заметил Лауден. – Не сумел преодолеть трудностей.

– А шантажом занимались? – осведомился Хэвенс.

– Само собой разумеется! – кивнул Лауден.

– Выгодное дело?

– Видите ли, я человек невезучий. А так, наверное, выгодное.

– Вы узнали чью-нибудь тайну? – спросил уроженец Глазго.

– Великую, как этот океан.

– Тайну богача?

– Не знаю, что вы называете богачом, но эти острова он мог бы купить и не заметить, во что они ему обошлись.

– Ну, так за чем же дело стало? Вы не могли его разыскать?

– Да, на это потребовалось время, но в конце концов я загнал его в угол и...

– И что?

– Все полетело вверх тормашками. Я стал его лучшим другом.

– Ах, черт!

– По-вашему, он не слишком разборчив в выборе друзей? – любезно осведомился Лауден. – Да, пожалуй, у него довольно широкий круг симпатий.

– Если вы кончили болтать чепуху, Лауден, – сказал Хэвенс, – то нам пора идти ко мне обедать.

За стенами клуба во мраке ревел прибой. В темной чаще кое-где мерцали огоньки. Мимо по двое и по трое проходили островитянки, кокетливо улыбались и снова исчезали во мгле, а в воздухе еще долго держался запах пальмового масла и цветов франжипана. От клуба до жилища мистера Хэвенса было два шага, и любому обитателю Европы они показались бы двумя шагами по волшебной стране. Если бы такой европеец мог последовать за нашими двумя друзьями в дом, окруженный широкой верандой, и в прохладной комнате, с жалюзи вместо стен, сесть с ними за стол, на белую скатерть которого падали цветные тени от бокалов с вином; если бы он мог отведать экзотические кушанья: сырую рыбу, плоды хлебного дерева, печеные бананы, жареного поросенка с гарниром из упоительного мити и царя всех подобных

блюды – салат из сердцевин пальмы; если бы он мог увидеть и услышать, как некая прелестная туземка, слишком скромная для супруги хозяина и слишком властная для любого иного положения, то появляется в столовой, то исчезает, браня невидимых помощников, а потом мгновенно очутился в родном лондонском пригороде, он сказал бы, протирая глаза и потягиваясь в своем любимом кресле у камина: «Мне приснилось дивное местечко! Ей-богу, это был рай!» Однако Додд и его хозяин давно уже привыкли ко всем чудесам тропической ночи, ко всем яствам островной кухни и принялись за еду просто как люди, давно проголодавшиеся, лениво перебрасываясь словами, как бывает, когда немного скучно.

Вскоре разговор коснулся беседы в клубе.

– Вы никогда еще не болтали столько чепухи, Лауден, – заметил Хэвенс.

– Мне показалось, что в воздухе запахло порохом, вот я и заговорил, чтобы отвлечь их.

Однако все это вовсе не чепуха.

– Вы хотите сказать, что все это правда: и опиум, и покупка потерпевшего крушение корабля, и шантаж, и человек, который стал вашим другом?

– Все правда, до последнего слова, – ответил Лауден.

– Кажется, вы действительно много испытали на своем веку, – сухо сказал Хэвенс.

– Да, история моей жизни довольно любопытна, – отозвался его друг. – Если хотите, я расскажу ее вам.

Далее следует повесть о жизни Лаудена Додда, не так, как он поведал ее своему другу, а так, как он впоследствии записал ее.

Рассказ Лаудена

Глава I

Хорошее коммерческое образование

Для начала мне следует описать характер моего бедного отца. Трудно представить себе человека лучше или красивее его и в то же время такого (с моей точки зрения) неудачника: ему не повезло и с делами, и с удовольствиями, и с выбором дома, и (как мне ни жаль) с единственным сыном. Он начал жизнь землемером, стал спекулировать земельными участками, пустился в другие деловые предприятия и постепенно приобрел репутацию одного из самых ловких дельцов штата Маскегон.⁶ «У Додда голова что надо», – отзывались о нем окружающие. Но сам я далеко не так уверен в его деловых способностях. Впрочем, удачливость его долгое время казалась несомненной, а уж настойчивость была совершенно бесспорной. Он вел ежедневную битву за деньги с меланхолической покорностью мученика: вставал чуть свет, ел на ходу, даже в дни побед возвращался домой измученным и обескураженным; он отказывал себе в развлечениях – если вообще был способен развлекаться, в чем я порой сомневался, – и доводил до благополучного конца очередную спекуляцию с пшеницей или алюминием, по сути своей ничем не отличающуюся от грабежа на большой дороге, ценой самой высокой самоотверженности и добросовестности.

К несчастью, меня ничто, кроме искусства, никогда не интересовало и интересоваться не будет. Я считал тогда, что высшее назначение человека – обогащать мир прекрасными произведениями искусства и приятно проводить время, свободное от этого благородного занятия. Насколько помню, о второй половине своей жизненной программы (которую, кстати, мне только и удалось осуществить) я отцу ничего не говорил, однако он, по-видимому, что-то заподозрил, так как назвал мой заветный план баловством и блажью.

– Ну хорошо, – воскликнул я однажды, – а что такое твоя жизнь? Ты думаешь только о том, как бы разбогатеть, и при этом за счет других людей.

Он грустно вздохнул (это вообще было его привычкой) и укоризненно покачал головой.

– Ах, Лауден, Лауден! – сказал он. – Все вы, мальчики, считаете себя мудрецами: Но как бы ты ни противился этому, всякий человек обязан работать. И выбор только один – быть честным человеком или вором, Лауден.

Вы сами видите, насколько бесполезно было спорить с моим отцом. Отчаяние, охватывавшее меня после подобных разговоров, отягощалось еще и раскаянием, потому что я нередко грубил ему, а он неизменно бывал со мной мягок и ласков. К тому же я ведь отстаивал мои личные стремления и желания, а он думал только о моем благе, хотя и понимал его по-своему. И он не терял надежды образумить меня.

– Основа у тебя хорошая, Лауден, – повторял он, – основа у тебя хорошая. В конце концов кровь скажется, и ты пойдешь по правильному пути. Я не боюсь, что мне придется стыдиться моего сына. Просто мне порой бывает неприятно, когда ты начинаешь нести чепуху.

После этого он похлопывал меня по плечу или по руке с нежностью, особенно трогательной в таком красивом и сильном человеке.

Как только я окончил школу, отец отправил меня в Маскегонскую коммерческую академию. Вы иностранец, и вам, вероятно, не так-то просто поверить, что подобное учебное заведение существует на самом деле. Поэтому, прежде чем продолжить свой рассказ, я хочу заве-

⁶ Маскегон – штат вымышленный.

рить вас, что я не шучу. Эта академия действительно существовала, а может быть, существует и по сей день – наш штат чрезвычайно ею гордился, считая это учебное заведение высшим достижением современной цивилизации. Мой отец, провожая меня на вокзал, несомненно, был уверен, что открывает передо мной прямой и верный путь в президенты и в рай.

– Лауден, – сказал он мне, – я даю тебе возможность, какой не мог дать своему сыну даже Юлий Цезарь: возможность познать жизнь прежде, чем ты сам примешь в ней участие. Избегай рискованных спекуляций, старайся вести себя так, как следует благородному человеку, и, по возможности, ограничивайся надежными операциями с железнодорожными акциями. Пшеница всегда соблазнительна, но и очень опасна. В твоём возрасте я не стал бы начинать с пшеницы; однако другие ценности тебе не противопоказаны. Обращай особое внимание на ведение счетных книг и, раз потеряв деньги, вторично их в те же акции не вкладывай. Ну, сынок, поцелуй меня на прощание и не забывай, что ты у меня один и что твой отец будет следить за твоей карьерой с любовью и тревогой.

Коммерческая академия занимала несколько прекрасных просторных зданий, расположенных в лесу. Воздух там был очень здоровым, питание – превосходным, плата за обучение – весьма высокой. Телеграф соединял академию, говоря словами рекламного объявления, «с различными мировыми центрами». Читальный зал был в изобилии снабжен «коммерческой прессой». Разговоры велись большей частью об Уолл-стрите, а студенты (всего там обучалось около ста человек) в основном занимались тем, что пытались прикарманить «академические капиталы» своих товарищей. Правда, по утрам мы занимались в аудиториях: нам преподавали немецкий и французский языки, бухгалтерское дело и прочие солидные науки. Однако большую часть дня мы проводили на «бирже», обучаясь спекуляции товарами и ценными бумагами, – это-то и была основа основ получаемого нами образования. Поскольку ни один из участников не имел никакой собственности – ни бушеля реальной пшеницы, ни доллара в государственной валюте, – эти спекуляции, разумеется, не приносили их участникам никаких выгод и превращались в самоцель. Они сводились к откровенной, ничем не прикрытой азартной игре. Нас, не жалея никаких затрат на декорации, обучали именно тому, что уничтожает всякую истинную коммерцию. Для того чтобы мы на опыте познакомились с движением и капризами цен, наш учебный рынок точно воспроизводил реальное положение вещей в стране. Мы были обязаны вести счетные книги, которые в конце каждого месяца проверялись либо директором, либо кем-нибудь из его помощников. Чтобы сделать игру еще более правдоподобной, «академической валюте» была придана реальная стоимость. Заботливые родители или опекуны покупали ее студентам по цене цент за доллар. Заканчивая курс, студенты по той же цене продавали академии оставшуюся у них валюту. А наиболее удачливые «биржевики» порой реализовывали часть своих капиталов еще в бытность свою студентами, чтобы тайком устроить пирушку в соседнем городке. Короче говоря, хуже этой академии была, пожалуй, только та, где Оливер познакомился с Чарли Бейтсом.⁷

Когда кто-то из младших преподавателей проводил меня на «биржу», чтобы показать мне мою конторку, я был ошеломлен царившим там хаосом и шумом. В глубине зала виднелись черные доски со столбцами все время меняющихся цифр. После каждого изменения студенты толпой бросались к доскам и начинали во весь голос вопить какую-то, как мне показалось, абракадабру. Некоторые вскакивали на конторки и скамьи, подавая руками и головами загадочные знаки и что-то быстро отмечая в своих записных книжках. Мне показалось, что неприятней этой сцены я еще ничего в жизни не видывал; а когда я сообразил, что все эти сделки – простая игра и что всех денег, циркулирующих на «академической бирже», не хватит и на покупку пары коньков, то почувствовал большое изумление, хотя и ненадолго, ибо припомнил,

⁷ Оливер и Чарли Бейтс – действующие лица романа Диккенса «Оливер Твист». Под «академией» подразумевается воровской притон.

как взрослые и очень богатые люди выходят из себя, проиграв жалкие гроши. Тогда, найдя таким образом оправдание моим соученикам, я изумился поведению преподавателя, который привел меня сюда: забыв показать мне мою конторку, он, бедняга, стоял среди этой суматохи как замороженный – казалось, цифры на досках всецело завладели его вниманием.

– Глядите, глядите, – завопил он мне в ухо, – курсы падают! Рынком со вчерашнего дня завладели «медведи».

– Ну и что же? – ответил я, с трудом перекрикивая шум (я еще не научился разговаривать в подобной обстановке). – Это же все понарошку.

– Да, конечно, – ответил он, – и вы должны твердо запомнить, что истинную прибыль вы получите, только если будете хорошо вести свои счетные книги. Надеюсь, Додд, мне предстоит только хвалить вас за них. Вы начинаете свою деятельность с весьма приличным капиталом – десять тысяч долларов в «академической валюте». Его, несомненно, хватит вам до конца обучения, если, конечно, вы не будете рисковать и пускаться в сомнительные операции... Постойте, что бы это значило? – перебил он сам себя, когда на досках появились новые цифры. – Семь, четыре, три! Додд, вам повезло: за весь семестр еще не было такого оживления. И подумать только, что точно то же происходит сейчас в Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе и других соперничающих деловых центрах страны! Эх, я и сам поиграл бы вместе с мальчиками, – добавил он, потирая руки, – да только это не разрешается правилами.

– А что бы вы сделали?

– Что бы я сделал? – вскричал он, сверкнув глазами. – Покупал бы, пока хватит капитала!

– Это и значит не рисковать и не пускаться в сомнительные операции? – спросил я с самым невинным видом.

Он бросил на меня злобный взгляд, а затем сказал, словно для того, чтобы переменить тему:

– Видите того рыжего юношу в очках? Это Билсон, наш самый блестящий студент. Мы все уверены в его будущем. Берите пример с Билсона, Додд.

Вскоре после этого, пока шум по-прежнему нарастал, цифры на доске появлялись и исчезали все быстрее, а зал сотрясался от воплей биржевиков, младший преподаватель покинул меня, указав мне наконец мою конторку. Мой сосед подводил итоги в своей счетной книге – подсчитывал убытки за это утро, как я узнал позднее, – и очень охотно оторвался от этого малоприятного занятия, увидев незнакомое лицо.

– Эй, новичок! – окликнул он меня. – Как вас зовут?.. Что? Ваш отец – Додд Голова Что Надо? Сколько у вас капитала? Десять тысяч? Здорово! Ну и дурак же вы, что возитесь со своими книгами!

Я ответил, что не вижу – иного выхода, поскольку книги ежемесячно проверяются.

– Эх, разиня! Наймите писца! – крикнул он. – Кого-нибудь из наших банкротов – для этого они здесь и толкутся. Если вы будете удачно играть на бирже, вам в этом колледже работать не придется.

Шум к этому времени стал совсем уже невыносимым, и мой новый друг, сказав, что наверняка кто-то «прогорел», что он пойдет выяснить, в чем дело, и приведет мне писца, застегнул куртку и нырнул в неистовствующую толпу. Его предположение было правильно: кто-то действительно «прогорел», один из королей биржи был низложен – игра на сале оказалась для него роковой, – и писец, обязавшийся писать мои книги, избавлять меня от всей работы и получать все причитающееся мне образование за тысячу долларов в месяц в «академической валюте» (десять долларов в валюте США), оказался не кем иным, как знаменитым Билсоном, с которого мне рекомендовали брать пример. Бедняга был очень расстроен. Только за одно могу я похвалить Маскегонскую коммерческую академию: все мы, включая даже самую мелкую рыбешку, испытывали глубокий стыд, оказываясь банкротами; ну, а такому магнату, как Билсон, который в дни своего процветания столь высоко задирал нос, потерпеть полный

крах было особенно тяжело. Но дух серьезного отношения к игре победил даже горечь недавнего поражения, и Билсон приступил к исполнению своих новых обязанностей с надлежащей энергией и деловитостью.

Таковы были мои первые впечатления от этого нелепого учебного заведения, и, говоря откровенно, я скорее назвал бы их приятными. Пока я буду богат, я смогу распоряжаться дневными и вечерними часами по своему вкусу: писец будет вести мои книги, писец будет толкаться и вопить на бирже, а я могу заниматься писанием пейзажей и чтением романов Бальзака – в то время это были два главных моих увлечения. Следовательно, моя задача сводилась к тому, чтобы оставаться богатым, то есть вести дела осмотрительно и не пускаться в рискованные спекуляции, иначе говоря, найти какой-то безопасный способ наживы. Я ищу его до сих пор, и, насколько могу судить, в нашем несовершенном мире ближе всего к нему стоит излюбленная детьми деловая операция, сводящаяся к формуле: «Орел – я выиграл, решка – ты проиграл». Помня напутственные слова моего отца, я робко взялся за железные дороги и около месяца занимал бесславно-надежную позицию, скупая в малых количествах самые устойчивые акции и безропотно (насколько это у меня получалось) снося презрение своего писца. Однажды я в виде опыта решился на более смелый шаг и, не сомневаясь, что акции компании «ПенХендл» (если не ошибаюсь) будут падать и дальше, продал этих акций на несколько тысяч. Но не успел я произвести эту сделку, как какие-то идиоты в Нью-Йорке начали играть на повышение, акции «ПенХендла» взлетели к потолку, а мое положение оказалось подорванным. Кровь, как и надеялся мой отец, сказала, и я мужественно продолжал вести свою линию: весь день я продавал эти дьявольские акции, и весь день они продолжали повышаться. Как кажется, я (хрупкая скорлупка) попал под носовую волну мощного корабля Джея Гульда – в дальнейшем, насколько помню, оказалось, что это был первый ход в очень крупной биржевой игре. В тот вечер имя Лаудена Додда занимало первое место в газете нашей академии, а мы с Билсоном (снова оказавшимся без места) претендовали на одну и ту же вакансию писца. О ком шумят, того скорей услышат. Мое разорение привлекло ко мне всеобщее внимание, и поэтому место писца получил я. Так что, как вы сейчас убедились, и в Маскегонской коммерческой академии можно было кое-чему научиться.

Меня лично совсем не трогало, выиграл я или проиграл в такой сложной и скучной игре, где все зависело только от случайности. Однако писать об этом отцу оказалось тяжелой задачей, и я пустил в ход все свое красноречие. Я доказывал (и это было абсолютной правдой), что студенты, удачно играющие на бирже, не получают никакого образования, и, следовательно, если он хочет, чтобы я чему-нибудь научился, ему следует радоваться моему разорению. Затем я (не очень последовательно) обратился к нему с просьбой снабдить меня новым капиталом, обещая в этом случае иметь дело только с надежными акциями железных дорог. Несколько увлекшись, я заключил свое письмо уверениями, что не гоюсь в дельцы, и горячей просьбой забрать меня из этого отвратительного места и отпустить в Париж заниматься искусством. В ответ я получил короткое, ласковое и грустное письмо, в котором он писал только, что до каникул осталось совсем немного, а тогда у нас будет достаточно времени, чтобы все обсудить.

Когда я приехал домой на каникулы, отец встретил меня на вокзале, и я был потрясен, увидев, как он постарел. Казалось, он думал только о том, как утешить меня и вернуть мне бодрость духа (которую я, по его мнению, должен был утратить). Не надо унывать, убеждал он меня, сотни опытейших биржевиков начинали свою карьеру с неудачи. Я заявил ему, что не создан быть финансистом, и его лицо омрачилось.

– Не говори так, Лауден, – сказал он. – Я не могу поверить, что мой сын оказался трусом.

– Но мне не нравится эта жизнь! – умоляюще произнес я. – Меня интересует не биржа, а искусство. На этом поприще я способен достичь гораздо большего!

И я напомнил ему, что известные художники зарабатывают большие деньги, что любая картина Мейсонье стоит много тысяч долларов.

– А не думаешь ли ты, Лауден, – возразил он, – что человек, способный написать тысячедолларовую картину, сумел бы показать свою закалку и на бирже? Уж поверь, этот Мэзон, о котором ты сейчас упомянул, или наш соотечественник Бьерстадт, очутись они завтра на хлебной бирже, показали бы, из какого материала они скроены. Послушай, Лауден, сынок, ведь я, видит бог, думаю только о твоём благе, и я хочу заключить с тобой договор: в следующем семестре я снова дам тебе десять тысяч ваших долларов, и, если ты покажешь себя настоящим мужчиной и удвоишь этот капитал, я позволю тебе поехать в Париж, коли тебе еще будет этого хотеться, в чем я сильно сомневаюсь. Но разрешить тебе уйти с позором, словно тебя высекли, мне не позволяет гордость.

Когда я это услышал, сердце мое забилось от радости, но тут же меня снова охватило уныние. Ведь, как мне казалось, куда легче было тут же, не сходя с места, написать картину не хуже Мейсонье, чем заработать десять тысяч долларов на нашей академической бирже. Не мог я также не подивиться столь странному способу проверки, есть ли у человека талант художника. Я даже осмелился выразить свое недоумение вслух.

– Ты забываешь, мой милый, – сказал отец с глубоким вздохом, – что я могу судить только об одном, но не о другом. Будь у тебя даже гений самого Бьерстадта, я бы этого не заметил.

– А кроме того, – продолжал я, – это не совсем справедливо. Другим студентам помогают их родные: присылают им телеграммы с указаниями. Вот, например, Джим Костелло, он и шага не сделает, пока отец из Нью-Йорка не подскажет ему, как поступить. А кроме того, как ты не понимаешь – ведь если кто-то наживается, значит, кому-то нужно разоряться.

– Я буду держать тебя в курсе выгодных сделок, – вскричал мой отец, просияв. – Я не знал, что это разрешается вашими правилами. Я буду посылать тебе телеграммы, зашифрованные нашим коммерческим шифром, и мы устроим нечто вроде фирмы «Лауден Додд и сын», а? – Он похлопал меня по плечу, а затем повторил с нежной улыбкой: – «Додд и сын», «Додд и сын».

Раз мой отец обещал давать мне советы, а коммерческая академия становилась преддверием Парижа, я мог с надеждой взирать на будущее. К тому же мысль о нашей «фирме» доставила моему старичку такое удовольствие, что он сразу ободрился. И вот после грустной встречи на вокзале мы сели ужинать, весело улыбаясь и в самом праздничном настроении.

А теперь я должен ввести в мое повествование нового героя, который, не сказав ни слова и даже пальцем не пошевелив, определил всю мою дальнейшую судьбу. Вам приходилось бывать в Штатах, и, возможно, вы видели его золоченую, хитро каннелированную голову, сверкающую над деревьями посреди обширной равнины, ибо этот новый герой был не что иное, как капитолий штата Маскегон, тогда еще только находившийся в проекте. Мой отец приветствовал его постройку из патриотических чувств, к которым в равной мере примешивалась деловая алчность, – и то и другое было совершенно искренним. Он был членом всех комитетов, связанных с этой постройкой, он пожертвовал на нее значительную сумму, и он подготавливал свое участие во всех связанных с ней подрядах. На конкурс было прислано много проектов. Когда я приехал из академии, мой отец был занят их рассмотрением, и они так его заинтересовали, что в первый же вечер после моего приезда он обратился ко мне за советом. Вот наконец был предмет, которым я мог заняться с искренним удовольствием! Правда, я ничего не смыслил в архитектуре, но, во всяком случае, это было искусство, а я в любом искусстве предпочитал классические образцы и, кроме того, был готов ради него на любые труды – способность, которую какой-то прославленный идиот объявил равнозначной гению. Я тут же с головой ушел в работу: ознакомился со всеми проектами, оценил их недостатки и достоинства, прочел множество книг по архитектуре, овладел теорией деформации, изучил текущие цены на строительные материалы и, короче говоря, оказался настолько хорошим «натаскивателем», что, когда началось рассмотрение проектов, Додд Голова Что Надо заслужил свежие лавры. Его доводы убедили всех, его выбор был единодушно одобрен комитетом, а я мог втихомолку

торжествовать, зная, что и аргументы и выбор принадлежали мне и только мне. Когда в принятый проект вносились некоторые дополнения и изменения, моя роль оказалась еще более значительной, ибо я составил эскиз и сделал модель каминных решеток для служебных помещений. Энергия и способности, которые я при этом проявил, привели моего отца в полный восторг, а кроме того, хотя мне самому, пожалуй, не следовало бы говорить об этом, именно благодаря моим усилиям капитолий моего родного штата украшает, а не безобразит его.

В общем, когда я вернулся в Коммерческую академию, настроение у меня было очень бодрое, и мои первые биржевые операции увенчались блестящим успехом. Отец постоянно присылал мне письма и телеграммы. «Ты должен сам решить, как поступить, Лауден, – не уставал повторять он. – Я сообщаю тебе только цифры, но любую свою спекуляцию ты предпринимаяешь на свой страх и риск, и все, что ты заработаешь, ты заработаешь благодаря собственной смелости и инициативе». Однако, несмотря на это, всегда было легко угадать, чего он от меня ждет, и я всегда спешил оправдать его ожидания. Через месяц у меня уже было около восемнадцати тысяч долларов в «академической валюте». И тут я пал жертвой одного из пороков этой системы. Как я уже упоминал, за «академическую валюту» можно было получить один процент ее номинальной стоимости в денежных знаках Соединенных Штатов. Разорившиеся биржевые игроки постоянно продавали свою одежду, книги, банджо и запонки, чтобы покрыть дефицит, а нажившиеся, наоборот, не устояв перед соблазном, превращали часть своих «прибылей» в настоящие доллары для оплаты каких-нибудь реальных удовольствий. А мне понадобилось тридцать долларов, чтобы приобрести принадлежности для занятий живописью: я постоянно уходил в лес писать этюды, и, поскольку мои карманные деньги были израсходованы, в один злосчастный день я реализовал три тысячи в «академической валюте», чтобы купить себе палитру, – благодаря советам моего отца я уже начал смотреть на биржу как на место, где деньги сами плывут тебе в руки.

Палитра прибыла в среду, и я вознесся на седьмое небо. В это время мой отец (сказать «я» значило бы отступить от истины) пытался устроить «двойной опцион» на пшенице между Чикаго и Нью-Йорком – как вам известно, спекуляции такого рода считаются одними из самых рискованных на шахматной доске финансов. В четверг удача повернулась к нему спиной, и к вечеру моя фамилия второй раз красовалась на доске в списке банкротов. Это был тяжелый удар. Надо сказать, что моему отцу в любом случае было бы нелегко его перенести, потому что, как бы ни мучили человека промахи его сына, его собственные промахи мучают его гораздо сильнее. Однако в горькой чаше нашей неудачи была, кроме того, капля смертельного яда: отец превосходно знал состояние моих финансов и заметил недостачу трех тысяч «академических долларов», а это, с его точки зрения, означало, что я украл тридцать настоящих долларов. Пожалуй, такое суждение было слишком строгим, но некоторые основания для него были, а мой отец, хотя его биржевая деятельность, на мой взгляд, по самой своей сути исключала честность, был необыкновенно щепетилен во всех сопутствующих ей мелочах. Я получил от него только одно печальное, обиженное и ласковое письмо, и больше до конца семестра он мне не писал, так что все это горькое время, трудясь в качестве писца, продавая одежду и этюды, чтобы добыть средства на очередную безнадежную спекуляцию, и с тоской стараясь забыть свою мечту о Париже, я был лишен его поддержки и советов.

Однако все это время он, по-видимому, постоянно думал о своем сыне и о том, что с ним дальше делать. Полагаю, он пришел в настоящий ужас от моей беспринципности – именно так он оценивал мой поступок – и старался изыскать способ, как в дальнейшем оградить меня от искушений. С другой стороны, архитектор, строивший капитолии, похвально отозвался о моих решетках, и, пока отец колебался, не зная, на что решиться, вмешалась судьба, и Маскегонский капитолий определил мою дальнейшую жизнь.

– Лауден, – сказал мне отец, встретив меня на вокзале сияющей улыбкой, – если ты поедешь в Париж, сколько времени тебе понадобится, чтобы сделаться опытным скульптором?

– Я не понимаю, отец, что ты имеешь в виду? – вскричал я. – Что значит «опытным»?

– Это значит – скульптором, которому можно доверить самые сложные заказы, – ответил он. – Ну, например, обнаженную натуру, а также патриотический и эмблематический стили.

– На это может потребоваться три года, – ответил я.

– И ты считаешь, что этому можно научиться только в Париже? – спросил он. – Ведь и у нас тут есть всякие возможности, и, говорят, этот Проджерс очень искусный скульптор, хотя он, наверное, слишком важный, чтобы давать уроки.

– Кроме Парижа, этому нельзя научиться нигде, – заверил его я.

– Да, – признал он, – мне и самому кажется, что так будет гораздо звучнее: «Молодой уроженец нашего штата, сын одного из наших видных граждан, обучавшийся у самых опытных мастеров Парижа!»

– Но, папочка, я ничего не понимаю, – перебил я. – Я ведь никогда не думал о том, чтобы стать скульптором.

– Дело вот в чем, – объяснил он. – Я взял подряд на снабжение нашего capitoлия скульптурами. Сперва я смотрел на это как на коммерческую сделку, а потом мне пришло в голову, что лучше превратить ее в семейное предприятие. Это придется тебе по вкусу, можно заработать большие деньги и проявить патриотизм. Если ты согласен, то поезжай в Париж и возвращайся через три года украшать capitoлии своего родного штата. Пред тобой открываются блестящие возможности, Лауден. И вот еще что: к каждому заработанному тобой доллару я добавлю один от себя. Но чем скорее ты уедешь и чем старательнее будешь учиться, тем будет лучше, так как, если первые статуи не придутся по вкусу гражданам Маскегона, выйдут большие неприятности.

Глава II

Руссильонское вино

Родители моей матери были шотландцы, и решено было, что по дороге в Париж я заеду навестить моего дядю Эдама Лаудена, удалившегося от дел бакалейщика, который проживал в Эдинбурге. Дядя говорил со мной очень сдержанно и очень иронично; кормил он меня великолепно, отвел мне чудесную комнату, но, казалось, возмещал себе все эти расходы до последнего гроша тем, что втайне надо мной потешался, отчего очки его то и дело насмешливо поблескивали, а уголки рта начинали лукаво подергиваться. Все это плохо скрываемое веселье, насколько я мог понять, объяснялось только тем фактом, что я американец. «Та-а-ак! – начинал он разговор, затягивая это слово до бесконечности. – В вашей стране вы, наверное, делаете это по-другому». И все мои многочисленные двоюродные братья и сестры принимались весело хихикать. Вероятно, именно такого рода отношение и породило то, что называется американской любовью к розыгрышам. Во всяком случае, я не выдержал и сообщил, что мои друзья летом ходят нагишом, а вторая методистско-епископальная церковь в Маскегоне украшена скальпами. Однако не могу сказать, чтобы подобные взлеты моей фантазии вызывали особенное изумление: их принимали почти так же, как сообщение о том, что мой отец принадлежит к республиканской партии, а в каждом штате есть своя столица. Вот если бы я рассказал им сущую правду – что мой отец вносил ежегодно высокую плату за то, чтобы меня обучали в заведении, по сути своей ничем не отличавшемся от игорного притона, – хихиканье и насмешливые улыбки моих родственников имели бы куда больше оснований.

Не могу отрицать, что порой меня охватывало непреодолимое желание угостить дядю Эдама хорошим тумаком, и надо сказать, что в конце концов дело, наверное, тем бы и кончилось, если бы в мою честь не был устроен званый обед. Во время него я, к большому моему удивлению и радости, убедился, что невежливость, с которой я столкнулся, не выходит за границы тесного семейного круга и может даже считаться проявлением родственной нежности. Гостям меня представляли со всяческим уважением, а то, что говорилось «о моем американском зяте, муже бедняжки Дженни, Джеймсе К. Додде, известном маскегонском миллионере», вполне могло исполнить гордостью сердце любящего сына.

Сначала моим проводником по городу был назначен дряхлый клерк моего деда, приятный, робкий человек, питавший большую склонность к виски. В компании этого безобидного, но отнюдь не аристократического спутника я осмотрел «трон Артура» и Колтон-Хилл, послушал, как играет оркестр в саду на Принсис-стрит, поглядел на исторические реликвии и на кровь Риччио в величественном замке на утесе и влюбился и в этот замок, и в бесчисленные колокольни, и в красивые здания, и в широкие проспекты, и в узенькие, кишашие народом улочки старинного города, где мои предки жили и умирали в те дни, когда никто еще не слышал о Христофоре Колумбе.

Однако куда больше меня интересовала реликвия совсем иного рода, а именно: мой дед Александр Лауден. В свое время этот почтенный старец был простым каменщиком и, как мне кажется, сумел разбогатеть исключительно благодаря практической сметке, а не каким-то особым достоинствам. Его внешность, речь и манеры недвусмысленно указывали на его скромное прошлое, что было источником вечных мучений для дяди Эдама. Под его ногтями, несмотря на тщательный надзор, постоянно появлялся траур, одежда висела на нем мешком, как праздничный костюм на поденщике, речь его была простонародной, и даже в лучшие свои минуты, когда он соглашался хранить молчание, самое его присутствие в уголке гостиной, его обветренное морщинистое лицо, его редкие волосы, его мозолистые руки и веселая лукавая усмешка безжалостно выдавали тот неприятный факт, что семья наша «вышла из низов». Как бы ни

жеманилась моя тетушка, как бы ни задирали нос мои кузены и кузины, ничто не могло противостоять весомой физической реальности – старику каменщику, сидящему в уголке у камина.

То, что я американец, давало мне одно преимущество: мне и в голову не приходило стыдиться деда, и старик не преминул это заметить. Он с большой нежностью вспоминал мою мать – вероятно, потому, что у него сложилась привычка сравнивать ее с дядей Эдамом, которого он презирал до неистовства, – и решил, что свое почтительное отношение к нему я унаследовал от его любимицы. Когда мы отправлялись с ним на прогулку – а скоро эти прогулки стали ежедневными, – он иногда (не забыв шепотом предупредить меня, чтобы я не проговорился об этом Эдаму) заходил в какой-нибудь трактир, где прежде бывал частым гостем, и там (если ему везло и он встречал своих старинных приятелей) с великой гордостью представлял меня честной компании, отпуская одновременно шпильку по адресу остальных своих потомков.

«Это сынок моей Дженни, – говаривал он в таких случаях. – Вот он – паренек хороший, не в пример другим». Во время наших прогулок мы не осматривали исторических древностей и не любовались видами, вместо этого мы посещали один за другим унылые окраинные кварталы. Интересны они были потому, что, как заявлял старик, он был подрядчиком, который их строил, а порой и единственным архитектором, который их планировал. Мне редко приходилось видеть более безобразные дома – их кирпичные стены, казалось, краснели, а черепичные крыши бледнели от стыда. Но я умел скрывать свои чувства от дряхлого ремесленника, и, когда он указывал на какой-нибудь очередной образчик уродства, обычно добавляя замечание вроде: «Вот эту штуку придумал я: дешево, красиво и всем пришлось по душе, а потом эту мыслишку у меня позаимствовали, и под Глазго есть целые кварталы с такими вот готическими башенками и плинтусами», – я торопился вежливо выразить свое восхищение и (заметив, что это доставляет ему особенное удовольствие) осведомиться, во сколько обошлось каждое такое украшение. Нетрудно догадаться, что наиболее частой и приятной темой наших разговоров был Маскегонский capitoлий.

Я по памяти начертил для деда все планы этого здания, а он с помощью узкой и длинной книжицы, полной всяческих цифр и таблиц (справочника Молесворта, если не ошибаюсь), которую всюду носил с собой в кармане, составлял примерные сметы и покупал с воображаемых торгов воображаемые подряды. наших маскегонских строителей он окрестил шайкой стервятников, и эта интересная для обеих сторон тема в соединении с моими познаниями в области архитектуры, теории деформации и цен на строительные материалы в Соединенных Штатах послужила надежной основой для сближения старика и юноши, в остальных отношениях совсем друг на друга не похожих, и заставила моего деда с большим жаром называть меня «умнейшим пареньком». Таким-то образом, как вы в свое время увидите, capitoлий моего родного штата вторично оказал сильнейшее влияние на течение моей жизни.

Однако, покидая Эдинбург, я не подозревал о том, какую значительную услугу успел себе оказать, и чувствовал только огромное облегчение от сознания, что расстаюсь наконец с этим довольно-таки скучным домом и отправляюсь в город радужных надежд – в Париж. У каждого человека есть своя заветная мечта, а я мечтал о занятиях искусством, о студенческой жизни в Латинском квартале и о мире Парижа, каким описал его мрачный волшебник – автор «Человеческой комедии». И я не разочаровался. Впрочем, я и не мог разочароваться, ибо видел не реальный Париж, а тот, который рисовало мне воображение. Моим соседом в безобразном, пропитанном запахами кухни пансионе на улице Расина, где я поселился, был З. Марка; в захудалом ресторанчике я обедал за одним столом с Лусто и Растиньяком; а если на перекрестке на меня чуть не наезжал изящный кабриолет, значит, им правил Максим де Трай. Как я уже сказал, обедал я в дешевом ресторанчике, а жил в дешевом пансионе – но не из нужды, а из романтических побуждений. Отец щедро снабжал меня деньгами, и если бы я только пожелал, то мог бы жить на площади Звезды и ездить на занятия в собственном экипаже. Однако тогда

вся прелесть парижской жизни была бы для меня утрачена: я остался бы прежним Лауденом Доддом, в то время как теперь я был студентом Латинского квартала, преемником Мюрже, и в самом деле жил так, как жили герои тех книг, которые я, погружаясь в мир мечты, запоем читал и перечитывал в лесах Маскегона.

В те годы мы, обитатели Латинского квартала, все были немножко помешаны на Мюрже. Поставленная театром «Одеон» пьеса «Жизнь богемы» (удивительно скучная и сентиментальная вещь) выдержала невиданное (для Парижа) число представлений и возродила созданную Мюрже легенду. Поэтому во всех мансардах нашего квартала разыгрывалось в частном порядке одно и то же представление, и добрая треть студентов вполне сознательно и к огромному собственному удовольствию старалась во всем подражать Родольфу или Шон-ару. Некоторые из нас заходили в этом очень далеко, а другие – еще дальше. Я, например, с величайшей завистью взирал на некоего моего соотечественника, который снимал мастерскую на улице Его Высочества Принца, носил сапоги, собирал свои длинные волосы в сетку и в таком облачении ничтоже сумняшеся шествовал в самый паршивый кабачок квартала в сопровождении натурщицы-корсиканки, одетой в живописный костюм своей родины и профессии. Несомненно, требуется некоторое величие души, чтобы придать подобный размах даже капризу; что же касается меня, то я довольствовался тем, что с огромным пылом притворялся бедняком, выходил на улицу в феске и пытался, невзирая на всяческие неприятные приключения, найти давно вымершее млекопитающее – гризетку. Самые большие жертвы я приносил в вопросах еды и питья: я был прирожденным гурманом и обладал тонким вкусом, особенно в отношении вин, так что только глубокая преданность романтическому идеалу давала мне силы прожевывать сдобренные жиром и мускусом блюда и запивать их красными чернилами, которые изготавливаются в Берси под видом вина. Порой после тяжелого дня в студии, где я трудился прилежно и весьма успешно, меня вдруг охватывало непреодолимое отвращение к подобной жизни, и тогда я, на время покинув дешевые кабачки и своих товарищей, отправлялся вознаградить себя за долгие недели самопожертвования хорошими винами и изысканными яствами. Я усаживался на террасе или в саду какого-нибудь ресторана, раскрывал томик одного из моих любимых писателей и, то принимаясь читать, то откладывая его в сторону, блаженствовал, пока не наступали сумерки и Париж не загорался огнями, а тогда отправлялся домой по набережным, любуясь звездами, наслаждаясь поэзией и приятной сытостью.

Однажды, когда на втором году моего пребывания в Париже я устроил себе такой отдых, со мной случилось приключение, о котором следует рассказать; собственно, к нему-то я и вел, ибо именно благодаря этому приключению я познакомился с Джимом Пинкертоном. Как-то в октябре я обедал совершенно один; на бульварах осыпались рыжие листья и, крутясь, неслись по мостовой. В такие осенние дни впечатлительные люди склонны равным образом и грустить в одиночестве и веселиться в дружеской компании – Ресторан не был особенно модным заведением, но обладал хорошим погребом, и клиенту предлагалась весьма разнообразная карта вин. Еето я и читал с двойным наслаждением человека, любящего и хорошие вина и красивые, звучные названия, когда мой взгляд упал (в самом ее конце) на малоизвестную марку – «русильонское». Я вспомнил, что никогда еще не пробовал этого вина, тут же заказал бутылку и, найдя ее содержимое превосходным, осушил ее до дна, а затем заказал еще пинтовую бутылку. Оказалось, что русильонское вино в маленькие бутылки не разливается. «Ладно, – сказал я, – давайте еще одну большую», после чего все погрузилось в туман. Столики в этом заведении стоят близко друг к другу, и когда я немного опомнился, то обнаружил, что веду громогласный разговор с моими ближайшими соседями. Очевидно, такое количество слушателей меня не удовлетворило, так как я отчетливо помню, что обводил взглядом зал, где все стулья были повернуты в мою сторону и откуда на меня смотрели улыбающиеся лица. Я даже помню, что именно я говорил, но, хотя с тех пор прошло уже двадцать лет, стыд по-прежнему жжет меня, и я сообщу вам только одно: речь моя была весьма патриотичной – остальное пусть дорисует

ваше воображение. Я собирался отправиться пить кофе в обществе моих новых друзей, но едва вышел на улицу, как почему-то оказался в полном одиночестве. Это обстоятельство и тогда меня почти не удивило, а теперь удивляет еще меньше; но зато я весьма огорчился, когда заметил, что пытаюсь пройти сквозь будку с афишами. Я начал подумывать, не повредила ли мне последняя бутылка, и решил выпить кофе с коньяком, чтобы привести свои нервы в порядок. В кафе «Источник», куда я отправился за этим спасительным средством, бил фонтан, и (что крайне меня изумило) мельничка и другие механические игрушки по краям бассейна, казалось, недавно починенные, выделяли самые невероятные штуки. В кафе было необычайно жарко и светло, и каждая деталь, начиная от лиц клиентов и кончая шрифтом в газетах на століке, выступала удивительно рельефно, а весь зал мягко и приятно покачивался, словно гамак. Некоторое время все это мне чрезвычайно нравилось, и я подумал, что не скоро устану любоваться окружающим, но вдруг меня охватила беспричинная печаль, а затем с такой же быстротой и внезапностью я пришел к заключению, что я пьян и мне следует поскорее лечь спать.

До моего пансиона было два шага. Я взял у швейцара зажженную свечу и поднялся на четвертый этаж в свою комнату. Хотя я и был пьян, мысль моя работала с необычайной ясностью и логичностью. Меня заботило одно: не опоздать завтра на занятия, и, заметив, что часы на каминной полке остановились, я решил спуститься вниз и отдать соответствующее распоряжение швейцару. Оставив горящую свечу на столе и не закрыв двери, чтобы на обратном пути не сбиться с дороги, я стал спускаться по лестнице. Дом был погружен в полный мрак, но, поскольку на каждую площадку выходило только три двери, заблудиться было невозможно, и я мог спокойно продолжать свой спуск, пока не завижу мерцание ночника в швейцарской. Я прошел четыре лестничных марша – никаких признаков швейцарской! Разумеется, я мог сбиться со счета, поэтому я прошел еще один марш, и еще один, и еще один, пока, наконец, не оказалось, что я отшагал их целых девять. Я уже не сомневался, что каким-то образом прошел мимо каморки швейцара, не заметив ее, – по самому скромному подсчету, я спустился уже на пять этажей ниже уровня улицы и находился где-то в недрах земли. Открытие, что мой пансион расположен над катакомбами, было очень интересным, и если бы я не был настроен поделовому, то, без сомнения, продолжал бы всю ночь исследовать это подземное царство. Но я твердо помнил, что завтра должен встать вовремя и что для этого мне необходимо отыскать швейцара. И вот, повернув обратно и тщательно считая, я стал подниматься до уровня улицы. Я прошел пять... шесть... семь маршей – по-прежнему никаких следов швейцара. Все это мне порядком надоело, и, сообразив, что моя комната уже совсем близко, я решил вернуться в нее и лечь спать. Я продолжал подъем и вскоре оставил за собой восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый марши лестницы, но моя открытая дверь, казалось, исчезла так же, как швейцар и его ночник. Я вспомнил, что в самой своей высокой точке этот дом насчитывает шесть этажей, из чего следовало, что я находился теперь по меньшей мере на три этажа выше крыши. Сначала мое приключение казалось мне забавным, но теперь оно, вполне естественно, начало меня раздражать. «Моя комната должна быть здесь, и все», – сказал я и, вытянув руки, направился к двери. Двери не было, не было и стены, вместо них передо мной зиял темный коридор. Некоторое время я шел по нему, не встречая никакого препятствия. И это в доме, где на каждом этаже были только три маленькие комнаты, выходившие прямо на лестничную площадку! Происходившее было настолько нелепо, что я, как вы легко поймете, окончательно потерял терпение. Тут я заметил у самого пола узкую полоску света, исследовал стену, нащупал дверную ручку и без всяких церемоний вошел в какую-то комнату. Там я увидел молодую девушку, которая, судя по ее весьма домашнему туалету, собиралась лечь спать.

– Простите мое вторжение, – сказал я, – но я живу в двенадцатом номере, а с этим проклятым домом произошло что-то непонятное.

Поглядев на меня, она ответила:

– Если вы будете так любезны выйти отсюда на несколько минут, я вас туда провожу.

Таким образом, вопрос был улажен при полной невозмутимости обеих сторон. Я стал ждать в коридоре. Вскоре незнакомка вышла в халате, взяла меня за руку, повела вверх по лестнице (то есть на четвертый этаж выше крыши) и втолкнула в мою комнату, где, чрезвычайно утомленный всеми этими удивительными открытиями, я немедленно бросился на постель и заснул, как ребенок.

Я рассказал вам об этом происшествии так, как оно мне представлялось ночью; однако на следующее утро, проснувшись и вспоминая о нем, я не мог не признать, что многое из случившегося выглядит весьма неправдоподобно. Вопреки вчерашним добродетельным намерениям, настроения идти в студию у меня не было, и вместо этого я отправился в Люксембургский сад, чтобы там в обществе воробьев, статуй и осыпающихся листьев остудить голову и привести в порядок мысли. Я очень люблю этот сад, занимающий столь видное место и в истории и в литературе. Баррас и Фуше выглядывали из окон этого дворца. На этих скамьях писали стихи Лусто и Банвиль (первый кажется мне не менее реальным, чем второй). За садовой решеткой кипит городская жизнь, а внутри шелестит листва деревьев, щебечут воробьи и дети, смотрят вдаль статуи. Я устроился на скамье напротив входа в музей и начал размышлять о событиях прошлой ночи, стараясь (насколько был в состоянии) отделить истину от фантазии.

При дневном свете оказалось, что в доме только шесть этажей, как было и прежде. Со всем моим архитектурным опытом я не мог втиснуть в его высоту все эти бесконечные лестничные марши, и он был слишком узок, чтобы вместить в себя длинный коридор, по которому я шел ночью. Однако самым неправдоподобным было даже не это. Мне вспомнился прочитанный когда-то афоризм, гласивший, что все может оказаться не соответствующим себе, кроме человеческой природы. Дом может вырасти или расшириться – во всяком случае, на взгляд хорошо пообедавшего человека. Океан может высохнуть, скалы – рассыпаться в прах, звезды – попадать с небес, словно яблоки осенью, и философ ничуть не удивится. Но встреча с молодой девушкой была случаем иного порядка. В этом отношении от девушек толку мало; или, скажем, мало толку применять к ним подобные правила; иначе говоря (можно и так взглянуть на дело), они существа высшего толка. Я готов был принять любую из этих точек зрения, так как все они приводили, в сущности, к одному выводу, к которому я уже начал склоняться, когда мне в голову пришел еще один аргумент, окончательно его подтвердивший. Я помнил наш разговор дословно – ну, так вот: я заговорил с ней по-английски, а не по-французски, и она ответила мне на том же языке. Отсюда следовало, что все ночное происшествие было сном, и катакомбы, и лестницы, и милосердная незнакомка.

Едва я успел прийти к этому заключению, как по осеннему саду пронесся сильный порыв ветра, посыпался дождь сухих листьев и над моей головой с громким чириканьем взвилась стайка воробьев. Этот приятный шум длился всего несколько мгновений, но он успел вывести меня из рассеянной задумчивости, в которую я был погружен. Я быстро поднял голову и увидел перед собой молодую девушку в коричневом жакете, которая держала в руках этюдник. Рядом с ней шел юноша несколькими годами старше меня; под мышкой он нес палитру. Их ноша, а также направление, в котором они шли, подсказали мне, что они идут в музей, где девушка, несомненно, занимается копированием какой-нибудь картины. Представьте же себе мое изумление, когда я узнал в ней мою вчерашнюю незнакомку! Если у меня и были сомнения, они мгновенно рассеялись, когда – наши взгляды встретились и она, поняв, что я узнал ее, и вспомнив, в каком наряде была она во время нашей встречи, с легким смущением отвернулась и стала смотреть себе под ноги.

Я не помню, была ли она хорошенькой, или нет, но при нашей первой встрече она проявила столько здравого смысла и такта, а я играл такую жалкую роль, что теперь мне страшно захотелось показать себя в более выгодном свете. Ее спутник был, вероятнее всего, ее братом, а братья склонны действовать без долгих размышлений, поскольку им еще в детские годы при-

ходится играть роль защитника и покровителя, и я решил, что ввиду этого мне следует немедленно принести свои извинения, тем самым предупредив возможность будущих осложнений.

Рассудив так, я приблизился ко входу в музей и едва успел занять подходящую позицию, как оттуда вышел тот самый молодой человек, о котором я думал. Так я столкнулся с третьим фактором, определившим мою судьбу, ибо мой жизненный путь сложился под влиянием следующих трех элементов: моего отца, капитолия штата Маскегон и моего друга Джима Пинкертона. Что же касается молодой девушки, которая в ту минуту занимала все мои мысли, то ее я с тех пор больше не видел и ничего о ней не слышал – вот великолепный пример игры в жмурки, которую мы зовем жизнью.

Глава III

В которой появляется мистер Пинкертон

Незнакомец, как я уже говорил, был на несколько лет старше меня. Он был хорошо сложен, обладал очень подвижным лицом и весьма дружелюбными манерами, а глаза у него были серые, живые и быстрые.

– Простите, можно сказать вам два слова? – начал я.

– Мой дорогой сэра, – перебил он, – хотя я не знаю, о чем вы хотите говорить, но готов выслушать хоть тысячу слов.

– Вы только что сопровождали молодую особу, по отношению к которой я совершенно непреднамеренно был невежлив. Обратиться прямо к ней значило бы снова поставить ее в неловкое положение, и поэтому я пользуюсь возможностью принести свои нижайшие извинения человеку одного со мной пола, ее другу и, может быть, – добавил я, поклонившись, – защитнику по крови.

– Вы мой соотечественник, в этом нет сомнения! – вскричал он. – Доказательство тому – ваша деликатность по отношению к незнакомой вам женщине. И она вполне заслуживает самого высокого уважения. Я был представлен ей на званом чае у моих друзей и, встретившись с ней сегодня утром, разумеется, предложил помочь ей нести ее палитру. Мой дорогой сэра, могу ли я узнать ваше имя?

Я был очень разочарован, узнав, что он совсем посторонний моей незнакомке, и предпочел бы уйти, но не мог этого сделать, так как начал разговор первым. Впрочем, этот молодой человек чем-то мне понравился.

– Меня зовут, – ответил я, – Лауден Додд. Я приехал сюда из Маскегона учиться ваянию.

– Ваянию? – повторил он так, словно это показалось ему очень странным. – А меня зовут Джим Пинкертон. Очень рад с вами познакомиться.

– Пинкертон? – в свою очередь, удивился я. – Не вы ли Пинкертон «Гроза табуреток»?

Он подтвердил мою догадку с веселым мальчишеским смехом, и действительно любой житель Латинского квартала мог бы гордиться столь почетным прозвищем.

Чтобы объяснить, откуда оно взялось, мне придется несколько отвлечься и сообщить кое-какие сведения, касающиеся истории нравов XIX столетия; такое отступление может быть интересным и само по себе. В те времена в некоторых студиях новичков «крестили» самыми варварскими и гнусными способами. Но два происшествия, следовавшие одно за другим, помогли развитию цивилизации, и (как это часто бывает) именно благодаря тому, что в ход тоже были пущены самые варварские средства. Первое случилось вскоре после появления в студии новичка-армянина. На голове его была феска, а в кармане (о чем никто не знал) – кинжал. «Крестить» его начали в самом обычном стиле и даже – из-за головного убора жертвы – куда более буйно, чем других. Сначала он переносил все с подзадоривающим терпением, но, когда кто-то из студентов позволил себе действительно непростительную грубость, выхватил свой кинжал и без всякого предупреждения всадил его в бок шутнику. Рад сообщить, что последнему пришлось пролежать несколько месяцев в кровати, прежде чем он смог снова приступить к занятиям. Свое прозвище Пинкертон приобрел в результате второго происшествия. Однажды в набитой народом студии трепещущий новичок подвергся особенно жестоким и подленьким шуточкам. Вдруг высокий бледный юноша вскочил со своего табурета и завопил: «А ну, англичане и американцы, разгоним эту лавочку!» Англосаксы жестоки, но не любят подлости, и призыв встретил горячую поддержку. Англичане и американцы схватили свои табуреты, и через минуту окровавленные французы уже в беспорядке отступали к дверям, бросив онемевшую от изумления жертву. В этой битве и американцы и англичане покрыли себя равной славой, но я горжусь тем, что зачинщиком был американец и притом горячий патриот,

которого как-то впоследствии на представлении «L'oncle Sam»⁸ пришлось оттеснить в глубь ложи и не подпускать к барьеру, потому что он то и дело выкрикивал: «О моя родина, моя родина!» А еще один американец (мой новый знакомый Пинкертон) больше всех отличился во время сражения. Одним ударом он раскрошил свой табурет, и самый грозный из его противников, отлетев в сторону, пробил спиной то, что на нашем жаргоне именовалось «добросовестно обнаженной натурой». Говорят, что обратившийся в паническое бегство воин так и выскочил на улицу, обрамленный разорванным холстом.

Нетрудно понять, сколько разговоров вызвало это событие в студенческом квартале и как я был рад встрече с моим прославленным соотечественником. В то же утро мне было суждено самому познакомиться с донкихотской стороной его природы. Мы проходили мимо мастерской одного молодого французского художника, чьи картины я давно уже обещал посмотреть, и теперь, в полном согласии с обычаями Латинского квартала, я пригласил Пинкертона пойти к нему вместе со мной. В те времена среди моих товарищей попадались крайне неприятные личности. Настоящие художники Парижа почти всегда вызывали мое горячее восхищение и уважение, но добрая половина студентов оставляла желать много лучшего – настолько, что я часто недоумевал, откуда берутся хорошие художники и куда деваются буяны-студенты. Подобная же тайна окутывает промежуточные ступени медицинского образования и, наверное, не раз ставила в тупик даже самых ненаблюдательных людей. Во всяком случае, субъект, к которому я привел Пинкертона, был одним из самых мерзких пьяниц квартала. Он предложил нам полюбоваться огромным полотном, на котором был изображен святой Стефан: мученик лежал в луже крови на дне пересохшего водоема, а толпа иудеев в синих, зеленых и желтых одеждах побивала его – судя по изображению – сдобными булочками. Пока мы смотрели на это творение, хозяин развлекал нас рассказом о недавнем эпизоде из собственной биографии, в котором он, как ему представлялось, играл героическую роль. Я принадлежу к тем американцам-космополитам, которые принимают мир (и на родине и за границей) таким, каков он есть, и предпочитают оставаться зрителями, однако даже я слушал эту историю с плохо скрываемым отвращением, как вдруг почувствовал, что меня отчаянно тянут за рукав.

– Он говорит, что спустил ее с лестницы? – спросил Пинкертон, побелев, как святой Стефан.

– Да, – ответил я. – Свою любовницу, которая ему надоела. А потом стал швырять в нее камнями. Возможно, именно это и подсказало ему сюжет его картины. Он только что привел убедительнейший довод – она была так стара, что годилась ему в матери.

Пинкертон издал странный звук, похожий на всхлипывание.

– Скажите ему, – пробормотал он, задыхаясь, – а то я не говорю по-французски, хотя кое-что понимаю... Так скажите ему, что я сейчас вздую его.

– Ради бога, воздержитесь! – вскричал я. – Они тут этого не понимают!

– И я попытался увести его.

– Ну, хотя бы скажите ему, что мы о нем думаем. Дайте я ему выскажу, что о нем думает честный американец.

– Предоставьте это мне, – сказал я, выталкивая Пинкертона за дверь.

– Qu'est ce qu'il a?⁹ – спросил студент.

– Monsieur se sent mal au coeur d'avoir trop regarder votre croute,¹⁰ – ответил я и ретировался вслед за Пинкертоном.

– Что вы ему сказали? – осведомился тот.

– Единственное, что могло его задеть, – сообщил я.

⁸ «Дядя Сэм» (франц.).

⁹ Что с ним? (франц.).

¹⁰ Он слишком долго смотрел на вашу мазню, и его затошнило (франц.).

После этой сцены, после той вольности, которую я позволил себе, вытолкнув моего спутника за дверь, после моего собственного не слишком достойного ухода мне оставалось только предложить ему пообедать со мной. Я забыл название рестораника, в который мы пошли, во всяком случае, он находился где-то за Люксембургским дворцом, а позади него был сад, и мы через несколько минут уже сидели там за столиком друг против друга и, как водится в юности, обменивались сообщениями о своей жизни и вкусах.

Родители Пинкертона приехали в Штаты из Англии, где, как я понял, он и родился, хотя у него была привычка об этом забывать. То ли он сам убежал из дому, то ли его выгнал отец, не знаю, но, во всяком случае, когда ему было двенадцать лет, он уже начал вести самостоятельную жизнь. Бродячий фотограф подобрал его, словно яблоко-паданец, на обочине дороги в Нью-Джерси. Маленький оборвыш понравился ему, он взял его себе в подручные, научил всему, что знал сам, то есть изготавливать фотографии и сомневаться в священном писании, а затем умер в придорожной канаве где-то в Огайо.

– Он был замечательным человеком, – говорил Пинкертон. – Видели бы вы его, мистер Додд! Он был благообразен, как библейский патриарх!

После смерти своего покровителя мальчик унаследовал его фотографические принадлежности и продолжал дело.

– Такая жизнь пришлась мне по душе, – рассказывал он. – Я побывал во всех живописных уголках замечательного континента, наследниками которого мы с вами родились. Видели бы вы мою коллекцию фотографий! Эх, жаль, что у меня нет ее с собой! Я делал эти снимки для себя на память, и на них запечатлены и самые величественные и самые чарующие явления природы.

Бродя по Западным штатам и территориям и занимаясь фотографией, он читал все книги, которые попадались ему под руку, – хорошие, плохие и средние, увлекательные и скучные, начиная от романов Сильвена Кобба и кончая «Началами» Эвклида, причем, к моему величайшему изумлению, выяснилось, что и того и другого автора он умудрился прочесть от корки до корки. Наделенный большой наблюдательностью и отличной памятью, подросток собирал сведения о людях, промышленности, природе и накапливал у себя в голове массу отвлеченных знаний и благородных представлений, которые в простоте душевной считал естественными и обязательными для всякого истинного американца. Быть честным, быть патриотом, обеими руками с одинаковым жаром загребать культуру и деньги – вот каковы были его принципы. Позже (разумеется, не при первой нашей встрече) я иногда спрашивал его, зачем это ему нужно. «Чтобы создать национальный тип! – заявлял он с горячностью. – Это наша общая обязанность, мы все должны стремиться к осуществлению американского типа! Лауден, это единственная надежда человечества. Если мы потеряем неудачу, как все эти старые феодальные монархии, то что же останется?»

Занятия фотографией не удовлетворяли его честолюбивых стремлений – они ни к чему не вели, объяснил он, в них отсутствовал дух современности – и вот, переменив профессию, он стал спекулировать железнодорожными билетами. Как подобные спекуляции осуществлялись, я не понял, хотя суть их, по-видимому, заключалась в том, чтобы лишить железную дорогу части ее доходов.

– Я отдался этому занятию всей душой, – рассказывал он. – Я недоедал и недосыпал, и даже самые опытные мои собраты признавали, что я постиг все тонкости дела за один месяц и революционизировал его еще до истечения года. И оно страшно увлекательно. Ведь это же очень интересно: наметить клиента, в одну секунду понять его характер и вкусы, выскочить из конторы и ошеломить его предложением билета до того самого места, куда он собирался ехать. Не думаю, что кто-нибудь во всей стране делал меньше ошибок, чем я. Но для меня это ремесло было лишь переходной стадией. Я копил деньги, я думал о будущем. Я знал, что мне нужно: богатство, образование, культурный семейный очаг, умная, образованная жена.

Да, мистер Додд, – тут он повысил голос, – каждый человек должен искать жену выше себя по положению, а главное – в духовном отношении. Иначе это не брак, а чувственность. По крайней мере таково мое мнение. Вот для чего я делал сбережения, и немалые! Однако не всякий – нет, далеко не всякий! – решился бы на то, на что решился я: закрыть процветающее агентство в Сент-Джо, где я загребал деньги лопатой, и одному, без друзей, не зная ни слова по-французски, приехать сюда, чтобы истратить свой капитал на обучение искусству.

– Это была давняя склонность, – спросил я, – или минутный каприз?

– Ни то и ни другое, мистер Додд, – признался он. – Конечно, в те времена, когда я был бродячим фотографом, я научился понимать и ценить красоту природы. Но дело не в этом. Я просто спросил себя, что в данную эпоху нужнее всего моей стране. Побольше культуры и побольше искусства, ответил я себе. И вот, выбрав самое лучшее место, где можно приобрести необходимые знания, я накопил денег и приехал сюда.

Глядя на Пинкертона, я испытывал восхищение и стыд. У него в мизинце было больше энергии, чем во всем моем теле; он был нашпигован всяческими завидными добродетелями; он буквально излучал бережливость и мужество; а если его художественное призвание и казалось (по крайней мере человеку с моей требовательностью в этом отношении) несколько смутным, то, во всяком случае, трудно было предугадать, чего может добиться человек, исполненный такого энтузиазма, обладающий такой душевной и физической силой. Поэтому, когда он пригласил меня к себе посмотреть его произведения (один из обычных этапов развития дружбы в Латинском квартале), я пошел с ним, исполненный больших ожиданий и интереса.

Ради экономии он снимал дешевую мансарду в многоэтажном доме вблизи обсерватории; мебелью ему служили его собственный сундук и чемоданы, а обоями – его собственные отвратительные этюды. Я не выношу говорить людям неприятности, но есть область, в которой я не умею льстить, не краснея: это – искусство и все, что с ним связано; тут моя прямота бывает поистине римской. Дважды я медленно проследовал вдоль стен, ища хоть какого-нибудь проблеска таланта, а Пинкерстон шел за мной, исподтишка стараясь по моему лицу догадаться о приговоре, с волнением снимал очередной этюд, чтобы я мог лучше рассмотреть, и (после того, как я молча старался найти в картине хоть какие-нибудь достоинства – и не находил) жестом, полным отчаяния, отбрасывал его в сторону. К тому времени, когда я кончил обходить комнату во второй раз, нами обоими овладело крайнее уныние.

– Ах, – простонал он, нарушая долгое молчание, – вы можете ничего не говорить! И так все ясно.

– Вы хотите, чтобы я был откровенен с вами? По моему мнению, вы зря тратите время, – сказал я.

– Вы не видите никаких проблесков? – спросил он со внезапно пробудившейся надеждой. – Даже в этом натюрморте с дыней? Одному моему товарищу он понравился.

Мне оставалось только еще раз со всей внимательностью рассмотреть дыню, что я и проделал, но потом опять покачал головой.

– Мне очень жаль, Пинкерстон, – сказал я, – но я не могу посоветовать вам и дальше заниматься живописью.

Он, казалось, в эту минуту снова обрел мужество, оттолкнувшись от разочарования, словно резиновый.

– Так, – решительно произнес он, – честно говоря, ваши слова меня не удивили. Но я буду продолжать обучение и отдам ему все силы. Не думайте, что я теряю время зря. Ведь это все культура, и она поможет мне расширить сферу моей деятельности, когда я вернусь на родину. Может быть, мне удастся устроиться в какой-нибудь иллюстрированный журнал, а на крайний случай я всегда могу стать торговцем картинами, – добавил он простодушно, хотя от такого чудовищного предположения мог, казалось, рухнуть весь Латинский квартал. – Ведь все это жизненный опыт, – продолжал Пинкерстон, – а, по-моему, люди склонны недооценивать опыт

и как доходную статью и как выгодное помещение капитала. Ну, да все равно. С этим кончено. Однако, для того, чтобы сказать то, что вы сказали, требуется большое мужество, и я никогда этого не забуду. Вот моя рука, мистер Додд. Я неровня вам и по культуре и по таланту...

– Ну, об этом вы судить не можете, – перебил я. – Свои работы вы мне показали, но ведь моих еще не видели.

– И то правда! – вскричал он. – Так пойдемте посмотрим их сейчас. Но я знаю, что мне до вас далеко. Я это просто чувствую.

Сказать по правде, мне было почти стыдно вести его в мою мастерскую. Хороши ли, плохи ли были мои работы, все равно они неизмеримо превосходили его творения. Однако хорошее настроение уже успело к нему вернуться, и я только диву давался, слушая, как он весело болтает о всяческих новых замыслах. В конце концов я понял, в чем суть: передо мной был не художник, который понял, что бездарен, а просто делец, узнавший (может быть, слишком внезапно), что из двадцати заключенных им сделок одна оказалась неудачной.

А кроме того (хотя тогда я об этом и не подозревал), он уже искал утешения у другой музы и льстил себя мыслью, что отблагодарит меня за искренность, укрепит нашу дружбу и (с помощью того же средства) докажет мне свою талантливость. Уже по пути, стоило мне заговорить о себе, он вытаскивал блокнот и что-то быстро в него записывал, а когда мы вошли в мастерскую, он повторил эту операцию и, прижав карандаш к губам, обвел неуютный зал внимательным взглядом.

– Вы собираетесь сделать набросок моей мастерской? – не удержался я от вопроса, снимая покров с Гения штата Маскегон.

– Это секрет, – сказал он. – Ну ничего. И мышь может помочь льву.

Он обошел вокруг моей статуи, и я объяснил ему мой замысел. Маскегон я изобразил в виде юной – совсем еще юной – матери несколько индейского типа; на коленях она держала крылатого младенца, символизовавшего взлет, который обещало нашему штату будущее, а восседала она на груди обломков греческих, римских и готических статуй, служивших напоминанием о тех странах, где жили наши предки.

– Вы удовлетворены своим произведением, мистер Додд? – спросил Пинкертон, когда я закончил объяснения.

– Ну, – ответил я, – мои товарищи считают, что для начала это не так уж плохо. Признаться, я и сам того же мнения. Отсюда статуя видна в наиболее выгодном ракурсе. Да, мне кажется, у нее есть кое-какие достоинства, – добавил я, – но я намереваюсь лепить еще лучше.

– Именно так! – вскричал Пинкертон. – Хорошо сказано! – И он принялся что-то царапать в своем блокноте.

– Что на вас нашло? – осведомился я. – Это же самое обычное и заурядное выражение.

– Чудесно! – удовлетворенно хмыкнул Пинкертон. – Гений, не сознающий собственной гениальности. Ну до чего же хорошо все ложится! – И он снова начал яростно писать.

– Если вы решили рассыпаться в любезностях, – заметил я, – то балаган закрывается. – И я сделал движение, собираясь набросить покров на статую.

– Нет, нет, – сказал он, – погодите! Расскажите мне еще что-нибудь. Что именно в ней хорошо?

– Я предпочел бы, чтобы вы сами это решили, – ответил я.

– Беда в том, – возразил он, – что я никогда не занимался скульптурой, хотя, конечно, часто любовался статуями, как всякий человек, наделенный душой. Сделайте мне одолжение, объясните, что вам в ней нравится, к чему вы стремились и каковы ее достоинства. Это будет полезно для моего образования.

– Ну хорошо. В скульптуре в первую очередь важен общий эффект. Ведь, по сути, она разновидность архитектуры, – начал я и прочел целую лекцию об этом виде искусства, исполь-

зую в качестве иллюстрации свой шедевр, – лекцию, которую я, с вашего разрешения (или без такового), опущу целиком и полностью.

Пинкертон слушал с глубочайшим интересом, задавал вопросы, избобличавшие в нем человека не слишком образованного, но наделенного большой практической сметкой, и продолжал царапать в своем блокноте, вырывая листок за листком. То, что мои слова записываются, словно лекция какого-нибудь профессора, вдохновляло меня, а поскольку я еще никогда не имел дела с прессой, то и не подозревал, что записываются они почти все наоборот. По той же самой причине (хотя американцу это может показаться невероятным) мне и в голову не приходило, что они будут сдобрены приправой легких сплетен, а меня самого и мои художественные произведения превратят в фарш, чтобы доставить удовольствие читателям какой-то воскресной газеты. Когда фонтан моего лекторского красноречия иссяк. Гений Маскегона был уже окутан ночным мраком. Однако я расстался с моим новым другом только после того, как мы условились встретиться на следующий день.

Надо сказать, что мой соотечественник мне очень понравился, и при дальнейшем знакомстве он продолжал в равной мере интересоваться, забавлять и очаровывать меня. Говорить о его недостатках я не хочу, и не только потому, что благодарность запечатывает мои уста, но и потому, что недостатки эти порождались воспитанием, которое он получил, и, как нетрудно заметить, он взлелеял и развивал их, считая добродетелями. Однако не могу отрицать, что он был для меня весьма беспокойным другом, и беспокойства эти начались очень скоро.

Тайну блокнота я открыл недели две спустя после первой нашей встречи. Милейший Пинкертон, как обнаружилось, посылал корреспонденции в одну из газет Дальнего Запада и очередную статью посвятил описанию моей особы. Я указал ему, что он не имел на это права, не попросив предварительно моего разрешения.

– Ох, как хорошо! – воскликнул он. – Я так и думал, что вы не поняли, в чем дело, да только не верилось: слишком уж это была бы большая удача.

– Но, мой милый, вы же были обязаны предупредить меня! – возразил я.

– Конечно, так полагается, – согласился он, – однако, поскольку мы друзья, а я затеял все, только чтобы услужить вам, мне казалось, что можно обойтись и без этого. Я хотел, по возможности, устроить вам сюрприз; я хотел, чтобы вы, как лорд Байрон, в один прекрасный день проснулись и узнали, что вами полны все газеты. Признайте, что такая мысль была вполне естественной. А ведь никто не любит заранее хвастать еще не оказанной услугой.

– Господи! Да почему вы вообразили, что я считаю это услугой? – воскликнул я.

Он немедленно погрузился в уныние.

– Вы считаете, что я позволил себе непростительную вольность, – сказал он. – Все ясно. Уж лучше бы я отрубил себе руку! Я остановил бы статью, да только поздно. Она, наверное, уже в наборе. А я-то еще писал ее с такой гордостью и удовольствием!

Теперь я думал только о том, как бы утешить его.

– О, это все пустяки, – сказал я. – Я знаю, что вы хотели сделать мне приятное, и, уж наверное, статья написана с большим вкусом и тактом.

– Ну, в этом вы можете не сомневаться! – вскричал он. – И какая газета! Первокласснейшая – «Санди Геральд» города Сент-Джозеф. А эту серию корреспонденции придумал я сам: явился к редактору, изложил ему мою мысль, он был покорен ее свежестью, и я вышел из его кабинета с договором в кармане. Свою первую парижскую корреспонденцию я написал в тот же вечер, не покидая Сент-Джо. Редактор только глянул на заголовок и сказал: «Вас-то нам и нужно!»

Это описание литературного жанра, в котором мне предстояло фигурировать, отнюдь меня не успокоило, но я промолчал и терпеливо ждал, пока однажды мне не была доставлена газета, помеченная: «С приветом от Д. П.». Я не без страха развернул ее и между отчетом о боксерском состязании и юмористической статьей о выведении мозолей – ну что можно

найти смешного в выведении мозолей! – обнаружил полтора столбца, посвященных мне и моей несчастной скульптуре. Я, как и редактор, взявший в руки первую корреспонденцию, только скользнул взглядом по заголовку и был более чем удовлетворен.

НОВОЕ ЗАБОРИСТОЕ ИНТЕРВЬЮ
ПИНКЕРТОНА
ПАРИЖСКИЕ ХУДОЖНИКИ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ МАСКЕГОНСКИЙ КАПИТОЛИЙ
Сын миллионера Додда
Патриот и ваятель
Он намерен лепить еще лучшие

В тексте под заголовком мне бросились в глаза убийственные фразы вроде: «несколько мясистая фигура», «ясная интеллектуальная улыбка», «гения, не сознающий собственной гениальности». «Скажите, мистер Додд, – продолжал репортер, – что вы думаете о сугубо американском скульптурном стиле?» Да, этот вопрос был мне задан, и – увы! – я действительно на него ответил, и дальше следовал мой ответ, или, вернее, какое-то крошево из моего ответа, напечатанное равнодушным шрифтом для всеобщего обозрения. Я горячо поблагодарил бога, что студенты-французы не знают английского языка, но тут же вспомнил об англичанах: например, о Майнере, о братьях Стеннис... Я готов был избить Пинкертона.

Чтобы отвлечься (если только это было возможно) от свалившейся на меня беды, я обратился к письму моего отца, которое пришло с той же почтой. В конверт была вложена газетная вырезка, и мой взгляд снова упал на слова: «сын миллионера Додда», «несколько мясистая фигура», а дальше следовала вся остальная позорящая меня чепуха. «Что подумал об этом мой отец?» – спросил я себя и начал читать письмо:

«Мой дорогой мальчик, посылаю тебе доставившую мне большую радость статью из весьма почтенной газеты, издающейся в Сент-Джозефе. Наконец-то ты начинаешь выбиваться в первые ряды, и я не могу не испытывать восторга и не благодарить бога при мысли, что не многим юношам твоего возраста доводилось занять почти два газетных столбца. О, если бы твоя мать стояла сейчас рядом со мной, читая статью через мое плечо! Но будем надеяться, что она разделяет мою радость на небесах. Разумеется, я послал экземпляр газеты твоим бабушке и дяде в Эдинбург, так что эту вырезку можешь сохранить себе на память. Этот Джим Пинкертона, очевидно, очень полезный знакомый, и, во всяком случае, он обладает огромным талантом, а быть в хороших отношениях с прессой всегда выгодно».

Надеюсь, на том свете мне будет зачтено, что, едва дочитав эти трогательные в своей наивности слова, я перестал сердиться на Пинкертона и почувствовал к нему глубочайшую благодарность. За всю мою жизнь, не считая, пожалуй, только факта моего рождения, я ничем не доставлял отцу большей радости, чем та, которую он испытывал, когда читал статью в «Санди Геральд». Как же глупо с моей стороны было огорчаться! Ведь мне впервые удалось ценой нескольких неприятных минут хоть чем-то возместить мой неоплаченный долг отцу. Поэтому, встретившись вслед за этим с Пинкертоном, я был очень мягок. Мой отец весьма доволен и считает, что корреспонденция написана очень талантливо, сказал я ему; что же касается меня, то я предпочитаю не привлекать внимания публики к моей особе, так как убежден, что ее должен интересовать не художник, а только его произведения; поэтому, хотя статья написана с большим тактом, я прошу его как об одолжении впредь этого никогда больше не делать.

– Ну вот, – сказал он уныло, – я вас обидел! Нет, вам не обмануть меня, Лауден. У меня нет деликатности, и это непоправимо.

Он сел и опустил голову на руки.

– Видите ли, в детстве я ведь не мог научиться ничему хорошему, – добавил он.

– Ну что вы, мой милый, – сказал я, – ничего подобного! Только в следующий раз, когда вы захотите оказать мне услугу, пишите о моем творчестве, а мою персону оставьте в стороне и не записывайте моих бессмысленных высказываний. А главное, – добавил я, задрожав, – не сообщайте, как я все это говорил! Вот, например: «С гордой, радостной улыбкой». Кому интересно, улыбался я или нет?

– Вот тут вы ошибаетесь, Лауден, – перебил он меня. – Именно это и нравится читателям, в этом-то и заключается достоинство статьи, ее литературная ценность. Таким образом я воссоздаю перед ними всю сцену, даю возможность самому скромному из наших сограждан получить от нашего разговора такое же удовольствие, какое получил я сам. Подумайте, что значило бы для меня, когда я был бродячим фотографом, прочесть полтора столбца подлинного культурного разговора, – узнать, как художник в своей заграничной мастерской рассуждает об искусстве, узнать, как он при этом выглядит, и как выглядит его мастерская, и что у него было на завтрак; а потом, поедая консервированные бобы на берегу ручья, сказать себе: «Если все пойдет хорошо, рано или поздно того же самого сумею добиться и я». Да я бы словно в рай заглянул, Лауден!

– Ну, если это может доставить столько радости, – признал я, – пострадавшим не следует жаловаться. Только пусть теперь читателей радует кто-нибудь Другой.

В результате этого происшествия между мной и Пинкертоном завязалась настоящая дружба. Если я что-нибудь понимаю в человеческой натуре (и «если» здесь не простая фигура речи, а означает искреннее сомнение), то могу смело утверждать, что никакие взаимные услуги, никакие совместно пережитые опасности не укрепили бы ее так, как эта ссора, которой удалось избежать, ибо тем самым мы нашли общий язык, несмотря на открывшуюся нам разницу в наших вкусах и понятиях.

Глава IV, в которой я познаю превратности судьбы

Было ли это результатом полученного мною образования и постоянных банкротств в коммерческой академии или сказывались качества, унаследованные от старика Лаудена, эдинбургского каменщика, но я, вне всяких сомнений, был очень бережлив. Беспристрастно разбирая свой характер, я прихожу к заключению, что это единственная добродетель, которой я могу похвалиться. В течение первых двух лет пребывания в Париже я не только никогда не тратил больше того, что высылал мне отец, а, наоборот, успел накопить в банке порядочную сумму. Вы скажете, что вряд ли это было особенно трудно, поскольку я разыгрывал из себя бедняка-студента, однако гораздо легче было бы тратить все до последнего гроша. Просто чудо, что я не пошел по этой дорожке; а на третьем году моей жизни в Париже, то есть вскоре после того, как я познакомился с Пинкертоном, выяснилось, что это не только чудо, но и счастье. В очередной срок деньги от отца не пришли. Я послал ему обиженное письмо с напоминанием и впервые не получил от него никакого ответа. Каблограмма возымела большее действие, так как, во всяком случае, заставила отца вспомнить о моем существовании. «Напишу немедленно», – телеграфировал он мне, однако обещанное письмо пришло очень не скоро. Я недоумевал, сердился, тревожился, но благодаря своей прежней бережливости не испытывал никаких финансовых затруднений. Все затруднения, тревоги, муки отчаяния выпали на долю моего бедного отца, который там, в Маскегоне, боролся с судьбой за существование и богатство и, возвращаясь домой после тяжелого дня бесплодного риска и неудач, перечитывал, может быть, со слезами, последнее злое письмо своего единственного сына, ответить на которое у него не хватало мужества.

Только три месяца спустя, когда от моих сбережений почти ничего не осталось, я получил наконец обещанное письмо вместе с обычным чеком.

«Мой дорогой сынок, – начиналось оно. – Боюсь, что из-за биржевой горячки я не только не отвечал на твои письма, но и не высылал тебе денег. Прости своего старика отца – ему пришлось очень нелегко, а теперь, когда все кончилось, доктор требует, чтобы я переменял обстановку и поехал охотиться в Адирондакские горы. Только не думай, что я нездоров – простое переутомление и упадок душевных сил. Многие из самых видных дельцов не устояли: Джон Т. Брейди удрал в Канаду с чужими капиталами. Билли Сендуит, Чарли Даунс, Джо Кейзер и еще многие из наших видных граждан сели на мель. Но Додд Голова Что Надо снова выстоял бурю, и, мне кажется, я так все устроил, что к осени мы станем богаче, чем были.

Теперь выслушай, сынок, мое предложение: ты писал, что далеко продвинулся в работе над своей первой статуей, – так возмись же за дело серьезно и кончи ее. Если твой учитель – все не могу запомнить, как пишется его фамилия, – вышлет мне сертификат, что она отвечает рыночным нормам, ты получишь в свое полное распоряжение десять тысяч долларов, чтобы истратить их здесь или в Париже, как захочешь. Поскольку ты утверждаешь, что там больше возможностей для твоей работы, я даже думаю, что тебе следует купить или выстроить в Париже собственный домик, а там, глядишь, твой старик отец начнет заходить к тебе обедать. Я с удовольствием приехал бы сейчас, потому что начинаю стареть и очень стосковался по своему милому мальчику, но у меня на руках еще несколько спекуляций, которые требуют моего личного присутствия и наблюдения.

Скажи своему другу мистеру Пинкертому, что я каждую неделю читаю его корреспонденции и, хотя напрасно ищу в них имя моего Лаудена, все же кое-что узнаю о той жизни, которую он ведет в этом незнакомом мне Старом Свете, описанном талантливym пером».

Разумеется, ни один молодой человек не сумел бы переварить подобное письмо в одиночестве. Оно означало такую перемену судьбы, что необходим был наперсник, – и таким наперс-

ником я, разумеется, выбрал Джима Пинкертона. Возможно, это отчасти объяснялось тем, что он упоминался в письме; однако не думаю, чтобы последнее обстоятельство сыграло какую-нибудь особую роль, – наше знакомство уже успело перейти в дружбу. Мой соотечественник мне очень нравился; я посмеивался над ним, я читал ему нотации, и я любил его. Он, со своей стороны, глубоко восхищался мной и глядел на меня снизу вверх – ведь я в избытке получил то «образование», о котором он так мечтал. Он ходил за мной по пятам, всегда готов был смеяться моим шуткам, и наши общие знакомые прозвали его «оруженосцем».

Мы с Пинкертоном читали и перечитывали это письмо, причем радовался он не меньше меня, а выражал эту радость куда более бурно. Статуя была уже почти закончена, так что потребовалось всего несколько дней, чтобы подготовить ее к показу. Мой учитель дал свое согласие, и в безоблачное майское утро у меня в мастерской собрались зрители предстоящего испытания. Мой учитель вддел в петлицу пеструю орденскую ленточку. Он пришел в сопровождении двух студентов-французов, моих приятелей; они оба теперь – известные парижские скульпторы. «Капрал Джон» (как мы его называли), вопреки своей сдержанности и своей привычке целиком отдаваться работе, которые с тех пор принесли ему такое уважение во всем мире, на этот раз покинул свой мольберт, чтобы поддержать земляка в столь важную минуту. Милейший Ромни пришел по моей особой просьбе, ибо кто из знавших его не чувствовал, что радость неполна, если он ее не разделяет, а несчастье переносится легче благодаря его утешениям? Кроме того, при церемонии присутствовали Джон Майнер, англичанин, братья Стеннис – Стеннис-аше¹¹ и Стекнис-frere,¹² как они фигурировали в счетах барбизонских трактирщиков, – два легкомысленных шотландца, и, разумеется, Джим; от волнения он был бел как полотно, а на лбу у него поблескивали капельки пота.

Полагаю, что и у меня, когда я снимал покрывало с Гения Маскегона, вид был не лучше. Учитель с серьезным видом обошел статую, потом улыбнулся.

– Неплохо. Да, для начала неплохо.

Мы все вздохнули с облегчением, а Капрал Джон (в качестве самого способного студента из числа присутствующих) объяснил ему, что статуя предназначается для украшения общественного здания, своего рода префектуры.

– Как? Что? – вскричал он. – Это еще что такое? А... в Америке, – добавил он, когда ему были даны соответствующие разъяснения. – Ну, это дело другое. Отлично, отлично.

О сертификате с ним пришлось заговорить, как о шутке – как о капризе богача, который в вопросах культуры недалеко ушел от дикарей Фенимора Купера, после чего потребовалось объединение всех наших способностей, чтобы составить сертификат в выражениях, приемлемых для обеих сторон. В конце концов этот документ был сочинен. Капрал Джон написал его своим неразборчивым почерком, учитель освятил своим именем и росчерком, я сунул его в конверт вместе с уже приготовленным письмом, после чего мы все отправились завтракать – все, кроме Пинкертона, помчавшегося на извозчике отвезти мое послание на почту.

Завтрак был заказан у Лавеню, куда не стыдно пригласить даже своего мэтра. Стол накрыли в саду, блюда я выбирал лично, а над картой вин мы устроили военный совет, что привело к превосходным результатам, и вскоре все уже разговаривали с большим воодушевлением и быстротой, Правда, когда произносились тосты, всем приходилось на несколько минут умолкать. Разумеется, мы выпили за здоровье мэтра, и он ответил короткой остроумной речью, полной изящных намеков на мое будущее и на будущее Соединенных Штатов; затем пили за мое здоровье; затем – за здоровье моего отца, о чем он был немедленно извещен каблогаммой. Подобное мотовство и экстравагантность чуть не докончили мэтра. Выбрав в поверенные Капрала Джона (очевидно, исходя из предположения, что он стал уже слиш-

¹¹ Старший (франц.).

¹² Брат (франц.).

ком хорошим художником, чтобы в нем могли сохраниться какие-либо американские черты, кроме имени), он излил свое негодующее изумление в одной несколько раз повторенной фразе: «C'est barbare!».¹³ Помимо обмена формальными любезностями, мы разговаривали – разговаривали об искусстве, и разговаривали о нем так, как могут говорить только художники. Здесь, в Южных Морях, мы чаще всего разговариваем о кораблях; в Латинском квартале мы обсуждали вопросы искусства – и с таким же постоянным интересом и, пожалуй, с таким же отсутствием результатов.

Довольно скоро мэтр ушел. Капрал Джон (который в какой-то мере уже сам был молодым мэтром) последовал за ним, после чего все простые смертные, разумеется, почувствовали большое облегчение. Остались только равные среди равных, бутылки заходили по кругу, беседа становилась все более и более оживленной. Мне кажется, я и сейчас слышу, как братья Стеннис произносят свои многословные тирады, как Дижон, мой толстый приятель-француз, сыплет остротами, столь же изящными, как он сам, а другой мой приятель, американец, перебивает говорящих фразами вроде: «Я нахожу, что в отношении тонкости Коро...» или: «для меня Коро – самый...» – после чего, исчерпав свой запас французских слов (он был не силен в этом языке), снова погружается в молчание. Однако он хотя бы понимал, о чем идет речь, что же касается Пинкертона, то шум, вино, солнечный свет, тень листвы и экзотическое удовольствие принимать участие в иностранной пирушке были для него единственным развлечением.

Мы сели за стол около половины двенадцатого, а примерно около двух, когда зашел спор о каких-то тонкостях и в качестве примера была названа какая-то картина, мы решили отправиться в Лувр. Я уплатил по счету, и несколько минут спустя мы всей толпой уже шли по улице Ренн. Погода стояла жаркая, и Париж сверкал тем поверхностным блеском, который очень приятен, когда у вас хорошее настроение, и действует угнетающе, когда на душе грустно. Вино пело у меня в ушах и озаряло все вокруг. Картины, которые мы видели, когда, громко переговариваясь, проходили по галереям, полным бессмертных творений, кажутся мне и теперь прекраснейшими, какие мне только доводилось видеть, а мнения, которыми мы обменивались, казались нам тогда необыкновенно тонкими, глубокомысленными и остроумными.

Но, когда мы вышли из музея, наша компания распалась из-за различия наших национальных обычаев. Дижон предложил отправиться в кафе и запить события дня пивом; старшего Стенниса эта мысль возмутила, и он потребовал, чтобы мы поехали за город, если возможно – в лес, и совершили длинную прогулку. К его мнению немедленно присоединились все англичане и американцы, и даже мне, человеку, над которым часто смеялись за его пристрастие к сидячей жизни, мысль о деревенском воздухе и тишине показалась неотразимо соблазнительной. По наведении справок выяснилось, что мы можем успеть на скорый поезд до Фонтенбло, если сейчас же отправимся на вокзал. Не считая одежды, у нас с собой не было никаких «личных вещей» – термин изысканный, но довольно смутный, – и кое-кто из нашей компании предложил все-таки захватить за ними домой. Но братья Стеннис принялись издеваться над нашей изнеженностью. Оказалось, что они неделю назад приехали из Лондона, захватив с собой только пальто и зубные щетки. Отсутствие багажа – вот тайна жизни. Несколько дорогостоящая, разумеется, поскольку каждый раз, когда вам нужно причесаться, приходится платить парикмахеру, и каждый раз, когда нужно сменить белье, приходится покупать новую рубашку, а старую выбрасывать; однако можно пойти на любые жертвы (доказывали братья), только бы не стать рабом чемоданов. «Человеку необходимо порвать все материальные путы; только тогда он может считать себя взрослым, – заявили они, – а пока вы чем-нибудь связаны – домом, зонтиком, саквояжем, – вы все еще не вышли из пеленок». Это теория покорила большинство из нас. Правда, оба француза, презрительно посмеиваясь, отправились пить свое пиво, а Ромни, слишком бедный, чтобы позволить себе такую поездку за собственный счет, и слишком гор-

¹³ «Какое варварство!» (франц.).

дый, чтобы прибегнуть к займу, незаметно ступал. Остальная компания влезла в извозчи-чью карету и принялась погонять лошадь (как это обычно бывает), предложив чаевые кучеру, так что мы успели на поезд за минуту до его отхода и полчаса спустя уже вдыхали благодат-ный лесной воздух, направляясь по холмистой дороге из Фонтенбло в Барбизон. Те из нас, кто шагал впереди, покрыли это расстояние за пятьдесят одну с половиной минуту, установив рекорд, ставший легендарным в анналах англосаксонской колонии Латинского квартала, но вас, вероятно, не удивит, что я сильно от них отстал. Майнер, склонный к философии британец, составил мне компанию, и, пока мы медленно шли вперед, великолепный закат, лилова-тые тени сумерек, упоительный аромат леса и царившая в нем торжественная тишина настро-или меня на молчаливый лад. Мое душевное состояние передалось моему спутнику, и, когда он вдруг заговорил, помню, это заставило меня вздрогнуть – в такую глубокую задумчивость успел я погрузиться.

– Ваш отец, судя по всему, – очень хороший отец, – сказал он. – Почему он не приезжает навестить вас?

У меня наготове было десятка два объяснений да еще столько же в запасе, но Майнер с присущей ему пронизательностью, которая всех восхищала, но и заставляла побаиваться его, неожиданно посмотрел на меня сквозь монокль и спросил:

– А вы его уговаривали приехать?

Я покраснел. Нет, я не уговаривал его приехать, я даже ни разу не попросил его навестить меня. Я гордился им, гордился его красивым. Мужественным лицом, его мягкостью и добро-той, его умением радоваться чужому счастью, а также (если хотите, это была уже не гордость, а чванство) его богатством и щедростью. И все же для него не было места в моей парижской жизни, которая не пришлась бы ему по вкусу. Я боялся насмешек над его наивными высказы-ваниями об искусстве; я внушал себе – и отчасти верил этому, – что он не хочет приезжать; мне казалось (как кажется и сейчас), что счастлив он мог быть только в Маскегоне. Короче говоря, у меня была тысяча веских и легковесных объяснений, ни одно из которых ни на йоту не меняло того факта, что он ждал только моего приглашения, чтобы приехать, – и я это знал.

– Спасибо, Майнер, – сказал я. – Вы даже лучше, чем я о вас думал. Сегодня же напишу ему.

– Ну, вы сами вовсе уж не так плохи, – возразил Майнер с более чем обычной шутиливо-стью, но (за что я был ему очень благодарен) без обычной иронии.

Это были чудесные дни, о которых я мог бы вспоминать без конца. Чудесными были и дни, которые последовали за ними, – когда мы с Пинкертоном бродили по Парижу и предме-стьям и в поисках моего будущего обиталища приценивались к домам или, осыпанные пылью, возвращались из антикварных лавок, нагруженные китайскими божками и медными жаров-нями. Оказалось, что Пинкертон хорошо знал местоположение этих лавок, а также цены вся-ческих редкостей и неплохо судил о них. Как выяснилось, он занимался скупкой картин и ред-костей для перепродажи их в Штатах, и его педантичность и старательность привели к тому, что, не превратившись в настоящего ценителя, он сумел стать неплохим экспертом. Сами пред-меты оставляли его глубоко равнодушным, но он находил особую радость в том, что научился покупать и продавать их.

В таких занятиях время шло незаметно, и наконец наступил срок, когда я мог ожидать ответа от отца. Однако с первыми двумя почтами я не получил ничего, а с третьей пришло длинное, бессвязное письмо, полное угрызений, ободрений, утешений и отчаяния. Из этого грустного послания, которое, движимый сыновней почтительностью, я сжег, как только про-читал, выяснилось, что мыльный пузырь миллионов моего отца лопнул, что у него не осталось ни гроша, что он болен и что мне не только придется забыть о десяти тысячах долларов, кото-рые я мог бы промотать в свое удовольствие, но даже денег, высланных мне на жизнь, я больше получать не буду. Это был тяжелый удар, но у меня хватило ума и совести поступить

как должно. Я продал все свои редкости – вернее, я попросил сделать это Пинкертона, а он сумел продать их не менее выгодно, чем в свое время купить, так что я на этом почти ничего не потерял. Полученная сумма вместе с оставшимися у меня деньгами составила пять тысяч франков. Пятьсот из них я оставил себе на необходимые расходы, а остальное еще до истечения недели послал отцу в Маскегон, где они были получены – как раз вовремя, чтобы оплатить его похороны.

Известие о смерти отца не удивило и почти не огорчило меня. Я не мог представить его бедняком. Слишком долго вел он жизнь богатого человека, ни в чем не отказывающего ни себе, ни другим, чтобы вынести подобную перемену. И, хотя мне было жаль себя, я радовался, что мой отец покинул битву жизни. Я говорю, что мне было жаль себя, и для этого у меня было вполне достаточно оснований: я лишился средств к существованию; все мое состояние (включая и деньги, возвращенные из Маскегона) не превышало тысячи франков, и в довершение бед подряд на статуи был передан другому лицу. У нового подрядчика был не то сын, не то племянник, и мне с деловой прямоотой предложили поискать для своего товара другой рынок. Я начал с того, что съехал с квартиры, и ночевал у себя в мастерской. Так что теперь и когда я читал перед сном, и когда я просыпался, тяжеловесная и отныне бесполезная махина – Гений Маскегона – все время торчала у меня перед глазами. Бедная каменная красавица! Она предназначалась для того, чтобы торжественно восседать под огромным золоченым куполом нового капитолия, – какая судьба ждет ее теперь? Для каких низменных целей будет она разбита, словно отправленный на слом старый корабль? И что ждет ее рожденного под несчастной звездой создателя, с тысячей франков в кармане стоящего в преддверии той тяжелой жизни, которая ждет всякого никому не известного скульптора?

Эту тему мы с Пинкертоном обсуждали без конца.

По его мнению, я должен был немедленно отказаться от своей профессии. «Бросай все это, – повторял он снова и снова. – Поедем со мной в Штаты и заведем какое-нибудь дело. У меня есть капитал, а у тебя – культура. «Додд и Пинкертона» – такое название фирмы для рекламы просто находка, а ты и не представляешь себе, Лауден, какое большое значение может иметь название».

Со своей стороны, я должен был признать, что скульптору для успеха необходима одна из трех вещей: деньги, влиятельный покровитель или адская энергия.

Первых двух я лишился, а третьей у меня никогда не было, и все-таки мне не хватало трусости (а быть может, и мужества) без всякого сопротивления отказаться от выбранной мной профессии. Кроме того, как я сказал Пинкертоному, хотя мои шансы преуспеть в качестве скульптора были невелики, как делец я вообще не мог ни на что рассчитывать, поскольку не имел к этому ни вкуса, ни способностей. Но в этом отношении Пинкертона ничем не отличался от моего отца: он принялся уверять меня, что я говорю так по неопытности, что всякий умный и образованный человек непременно преуспеет на этом поприще, что я наверняка унаследовал деловые качества моего отца и что я получил все необходимые для этой карьеры знания в специальном колледже.

– Пинкертона, – отвечал я, – неужели ты не можешь пенять, что все время, пока я пробыл там, я ничем не интересовался и ничему не научился? Для меня все это было смертной мукой.

– Этого не может быть, – возражал он. – Не мог же ты находиться в самой гуще подобной жизни и не почувствовать ее очарования. У тебя для этого слишком поэтичная душа! Нет, Лауден, ты меня просто бесишь. По-твоему, какая-нибудь вечерняя заря должна потрясать человека, но он не почувствует интереса к месту, где идет борьба за богатство, где состояния наживаются и теряются за один день; по-твоему, он останется равнодушным к карьере, которая требует, чтобы он изучил жизнь, как свои пять пальцев, умел выискать самую маленькую щелчку, чтобы запустить в нее лапу и извлечь доллар, и стоял бы посреди всего этого вихря –

одной ногой на банкротстве, а другой – на взятом займы долларе, – и загребал бы деньги лопатой наперекор судьбе и счастью?

Этой биржевой романтике я противопоставлял романтику (она же добродетель) искусства, напоминая ему о людях, упорно сохранявших верность музам, несмотря на все тяготы, с которыми эта верность связана, начиная от Милле и кончая нашими многочисленными приятелями и знакомыми, которые избрали именно этот приятный горный путь по жизни и теперь мужественно пробирались по скалам и колючим зарослям, без гроша в кармане, но полные надежд.

– Тебе этого не понять, Пинкертон, – говорил я. – Ты думаешь о результатах, ты хочешь получать выгоду от затраченных тобой усилий, вот почему ты не станешь художником, доживи ты хоть до тысячи лет. Результаты – это ерунда. Глаза художника обращены внутрь, его цель – внутреннее настроение. Погляди на Ромни. Вот у кого душа художника. Он беден, как церковная мышь, но предложи ему стать главнокомандующим или даже президентом Соединенных Штатов, и он откажется, – ты же знаешь, что он откажется.

– Может быть, и откажется, – кричал в ответ Пинкертон, ероша волосы обеими руками, – но я не понимаю, почему; я не понимаю, чего ему надо! Наверное, я не могу подняться до подобных взглядов. Конечно, это потому, что в юности я не получил образования. Однако, Лауден, с моей низменной точки зрения это кажется мне глупым. Дело в том, – порой добавлял он с улыбкой, – что на пустой желудок мне внутреннее настроение ни к чему, и я убежден, что первый долг всякого человека – умереть богатым, если удастся.

– А для чего? – спросил я его как-то.

– Ну, не знаю, – ответил он. – А почему человек хочет стать скульптором, если уж на то пошло? Я и сам бы не прочь лепить. Только я не понимаю, почему ты не хочешь заниматься ничем другим. Это вроде как указывает на обедненную натуру.

Не знаю, научился ли он когда-нибудь понимать меня – а мне с тех пор пришлось столько пережить, что я сам себя разучился понимать, – но, во всяком случае, он скоро заметил, что я говорю совершенно серьезно, и дней через десять неожиданно прекратил споры и заявил, что он зря тратит свой капитал и должен немедленно вернуться на родину. Несомненно, ему следовало бы вернуться уже давно, и медлил он в Париже только ради нашей дружбы и из-за моих несчастий, но так уж устроен человек: тот самый факт, который должен был бы обезоружить меня, только усилил мою досаду и раздражение. Мне казалось, что, уезжая, он подло покидает меня. Вслух я этого не высказывал, но, без сомнения, выдал свои чувства. Унылый вид Пинкертона доказывал, что его и самого мучает эта же мысль. Как бы то ни было, за время, пока он готовился к отъезду, наша дружба, казалось, сильно остыла, о чем я вспоминаю теперь с немалым стыдом. В день отъезда он пригласил меня пообедать в ресторане, который, как ему было хорошо известно, я часто посещал, пока из соображений экономии не был вынужден от этого отказаться.

Он, по-видимому, чувствовал себя неловко, а я и жалел о его отъезде и злился, так что за едой мы почти не говорили.

– Вот что, Лауден, – сказал он с видимым усилием, когда был подан кофе и мы закурили трубки, – тебе никогда не понять, как я тебе благодарен и как я к тебе привязан. Ты не знаешь, какой дар судьбы – дружба с человеком, стоящим на самой вершине цивилизации; ты не можешь себе представить, как эта дружба облагородила и очистила меня, как она возвысила мой дух, и я хочу сказать тебе, что готов умереть у твоих дверей, как верная собака.

Не знаю, что бы я ему ответил, но он перебил меня.

– Позволь, я договорю! – воскликнул он. – Я преклоняюсь перед твоей преданностью искусству. Сам я не могу подняться до подобного чувства, но в моей душе есть поэтическая струнка, Лауден, которая отзывается на него. Я хочу, чтобы ты следовал своему призванию, и собираюсь помочь тебе в этом.

– Пинкертон, что это еще за чепуха? – прервал я его.

– Пожалуйста, не сердись, Лауден, – сказал он, – это простое деловое предложение – такие сделки заключаются каждый день, они даже типичны. Каким образом Гендерсон, Самнер, Лонг оказались в Париже? Все одна и та же история: с одной стороны – молодой человек, так и брызжащий гениальностью, с другой – коммерсант, не знающий, куда девать деньги.

– Брось говорить глупости – у тебя же нет ни гроша за душой, – перебил я.

– погоди, пока я примусь как следует за дело! – воскликнул он. – Я наверняка разбогатею, и поверь, я хочу извлечь из своих денег кое-какое удовольствие. Вот твоя первая стипендия. Прими ее из рук друга; я ведь, как и ты, принадлежу к тем людям, для кого дружба священна. Это всего сто франков, и ты их будешь получать каждый месяц, а как только я расширю свое дело, мы эту сумму увеличим до приличной цифры. И тут нет никакого одолжения – если ты поручишь мне сбывать свои скульптуры в Америке, то это будет одной из выгоднейших сделок в моей жизни.

Потребовалось много времени, взаимного расшаркивания и обид, прежде чем мне удалось отклонить его предложение, согласившись взамен распить бутылку коллекционного вина. Наконец он прекратил спор, неожиданно сказав: «Ну ладно, с этим – все», – и больше уже к этой теме не возвращался, хотя мы провели вместе целый день и я проводил его до дверей зала ожидания вокзала Сен-Лазар. У меня было страшно одиноко на душе; какой-то голос говорил мне, что я отверг и мудрый совет и руку дружбы, и, когда я возвращался домой по огромному, сияющему огнями городу, в первый раз я глядел на него, как на врага.

Глава V, в которой я бедствую в Париже

Нет такого места на земле, где было бы приятно голодать, но, если не ошибаюсь, давно признано, что тяжелее всего голодать в Париже. В нем кипит такая веселая жизнь, он так похож на огромный ресторан с садом, его дома так красивы, театры так многочисленны, а экипажи мчатся так быстро, что человек, измученный душевно и больной телесно, чувствует себя брошенным и никому не нужным. Ему кажется, что он единственная реальность в мире кошмаров. Весело болтающие посетители кафе, толпы у театральных подъездов, извозчицы кареты, набитые по воскресным дням искателями дешевых удовольствий, витрины ювелирных магазинов – все эти привычные зрелища как-то особенно усугубляют и подчеркивают его собственное несчастье, нужду, одиночество. И в то же самое время, если он человек моего склада, ему служит утешением детски наивное тщеславие. Вот наконец настоящая жизнь, говорит он себе, наконец-то я стою с ней лицом к лицу: спасательный пояс, поддерживавший меня на поверхности океана, исчез, ничто не помогает мне в борьбе с волнами, от меня одного зависит, спасусь ли я или погибну, и теперь я на самом деле испытываю то, чем восторгался, читая о судьбе Лусто или Люсьена, Родольфа или Шокара.

Не стану подробно описывать, как я бедствовал. Нуждавшиеся студенты обычно прибегали к тому, что мягко именовалось «займами» (хотя отдавать эти долги они с самого начала не собирались), и многим удалось продержаться таким образом несколько лет. Но мое разорение произошло в самый неблагоприятный момент. Большинство моих друзей уехало, другие сами еле сводили концы с концами. Ромни, например, вынужден был ходить по парижским тротуарам в деревенских сабо, а в его единственном костюме зияли такие прорехи (несмотря на все булавки, которыми были искусно сколоты лохмотья), что дирекция Люксембургского музея попросила его больше там не появляться. Дижон тоже сидел на мели и делал эскизы часов и газовых бра по заказу какого-то торговца, так что был в состоянии предложить мне только угол своей мастерской, где я мог бы работать. Моей собственной мастерской, как нетрудно догадаться, я к этому времени уже лишился, и в результате Гений Маскегона навеки расстался со своим творцом. Для того чтобы хранить большую статую художнику необходима мастерская, галерея или хотя бы право пользоваться садиком. Он не может возить ее с собой на задке пролетки, как чемодан, и равным образом, поселившись на крохотном чердаке, не может делить его с жильцом столь внушительных размеров. Сперва я решил оставить Гения в моей прежней мастерской, ибо мне казалось, что он, пребывая там, где был создан, может послужить источником вдохновения для моего преемника. Но хозяин дома, с которым я, к несчастью, поссорился, воспользовался случаем сделать мне неприятность и потребовал, чтобы я немедленно вывез свою собственность. Для человека, находившегося в таких стесненных обстоятельствах, как я, нанять подводу значило бы пойти на непозволительно большой расход, но даже это не остановило бы меня, если бы, наняв подводу, я знал, куда мне везти свое творение. Мной овладел истерический смех, когда я увидел (глазами воображения), как я, ломовой извозчик и Гений Маскегона стоим посреди Парижа, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше, и в конце концов, пожалуй, направляемся к ближайшей свалке и водружаем любимое дитя моей творческой мысли на кучу городских отбросов. От подобной крайности меня спас вовремя явившийся покупатель, которому я уступил Гения Маскегона за тридцать франков. Где он теперь стоит, под каким именем его хвалят или бранят, история умалчивает. Но мне хочется думать, что он украшает сад какого-нибудь загородного кафе, и продавщицы, вырвавшиеся на воскресенье из душного Парижа, вешают шляпки на мать, а их кавалеры (желая сказать любезность) утверждают, что крылатое дитя – это бог любви.

Я обедал в кредит в дешевом трактире на окраине, где столовались извозчики. Договариваясь с хозяином, я намекнул, – что ужина мне не потребуется, так как вечером я буду садиться за изысканно сервированный стол кого-нибудь из богатых знакомых. Но это было крайне опрометчиво с моей стороны. Моя выдумка, вполне правдоподобная, пока на мне был приличный костюм, стала казаться более чем сомнительной, когда рукава и лацканы моего сюртука обтрепались, а оторванные подметки башмаков начали звонко шлепать по полу трактира. Кроме того, есть один раз в день было очень полезно для моего кошелька, но вредно для моего желудка. Раньше я частенько заходил в этот трактир из романтических побуждений – чтобы познакомиться с жизнью студентов, менее богатых, чем я. И каждый раз я входил туда с отвращением, а выходил, испытывая тошноту. Мне было странно, что теперь я сажусь тут за столик с нетерпением, встаю из-за него довольный и принимаюсь считать часы, которые отделяют меня от возможности снова приняться за эти сомнительные яства. Но голод – великий волшебник, а как только я истратил все свои деньги и не мог уже заморить червячка чашкой шоколада или куском хлеба, этот извозничий трактир остался единственным местом, где я кое-как подкреплял свои силы, если не считать редких, долго ожидаемых и долго хранимых в памяти неожиданных удач. Например, торговец расплачивался с Дижоном или кто-нибудь из старых друзей приезжал в Париж. Тогда меня приглашали на настоящий обед, и я производил заем в стиле Латинского квартала, после чего мне в течение двух недель хватало денег на табак и утреннюю чашку кофе.

Казалось бы, такое полуголодное существование должно было убить во мне гурмана. Однако в действительности все обстоит как раз наоборот: чем грубее пища, которую ест человек, тем больше он мечтает о деликатесах. Свои последние деньги – тридцать франков – я ничтоже сумняшеся истратил на один хороший обед, а оставаясь один, занимался преимущественно тем, что составлял меню воображаемых пиров.

Однажды во мне снова проснулась надежда – богатый житель одного из Южных штатов заказал мне свой бюст. Заказчик был щедр, шутлив, весел. Позируя, он развлекал меня всевозможными рассказами, а после окончания сеанса приглашал пообедать с ним и продолжить осмотр достопримечательностей Парижа. Я ел вволю, начал толстеть. Бюст, по общему мнению, получался очень похожим, и, признаюсь, я уже решил, что моим злключениям пришел конец. Но, когда работа была закончена и я отослал бюст в Америку, мой заказчик даже не сообщил мне о его получении. Этот удар совсем сразил меня, и, вероятно, я даже не попытался бы бороться за свои права, если бы не встал вопрос о чести моей родины. Ибо Дижон, воспользовавшись удобным случаем, по-европейски, поспешил просветить меня (в первый раз) относительно американских нравов: по его словам, Соединенные Штаты были бандитским притоном, где нет и следа закона и порядка и где долги удаётся взыскивать только под дулом ружья. «Это известно всему миру, – заявил он, – только вы один, *mon petit*¹⁴ Лауден, только вы один об этом не знаете. Совсем недавно в Цинциннати члены верховного суда устроили поножовщину прямо в святилище правосудия. Прочтите-ка книгу одного из моих друзей «*Le Touriste dans le Far-West*»;¹⁵ все эти факты изложены там на хорошем французском языке».

Такие разговоры длились целую неделю, и наконец, сильно рассердившись, я взялся доказать ему обратное и передал это дело в руки поверенного моего покойного отца. По истечении надлежащего срока я имел удовольствие узнать, что мой должник умер от желтой лихорадки в Ки-Уэсте, оставив свои дела в запутанном состоянии. Имени его я не называю, хотя он и обошелся со мной весьма небрежно, но, может быть, совершенно честно собирался заплатить мне.

Вскоре после этого отношение ко мне в извозничьем трактире стало еле заметно меняться, знаменуя новую фазу моих бедствий. В первый день я старался внушить себе, что

¹⁴ Мой маленький (*франц.*).

¹⁵ «Путешественник на Дальнем Западе» (*франц.*).

мне это просто почудилось; на следующий я твердо убедился, что мое впечатление меня не обмануло; на третий, поддавшись панике, я не пошел в трактир и пропостился сорок восемь часов. Это был крайне безрассудный поступок, ибо должник, не являющийся в обычный час, только привлекает к себе больше внимания и рискует, что его заподозрят в намерении скрыться. Поэтому на четвертый день я все-таки отправился туда, трепеща в душе. Хозяин бросил на меня косой взгляд, официантки (его дочери) обслуживали меня кое-как и только презрительно фыркнули в ответ на мое преувеличенно веселое приветствие, и – что было красноречивее всего, – когда я потребовал сыр (который подавался всем обедающим), мне грубо ответили, что он весь вышел. Сомневаться не приходилось: приближалась катастрофа. Только тоненькая дощечка отделяла меня от полной нужды, и эта дощечка уже дрожала. Я провел бессонную ночь, а утром отправился в мастерскую Майнера. Я уже давно подумывал об этом шаге, но никак не мог на него решиться. Наше знакомство с Майнером было шапочным, и, хотя мне было известно, что этот англичанин богат, его поведение и его репутация заставляли предполагать, что он не терпит попрошайек.

Когда я вошел, он работал над картиной, которую я мог похвалить, не кривя душой, однако, поглядев на его простой суконный костюм, я смутился – хотя и скромный, но аккуратный и тщательно выутюженный, он являл слишком разительный контраст с моей собственной изношенной и грязной одеждой. Пока мы разговаривали, он продолжал поглядывать то на холст, то на толстую нагую натурщицу, которая сидела в дальнем конце мастерской, терпеливо держа над головой согнутую руку. Даже при самых благоприятных обстоятельствах мне было бы нелегко высказать свою просьбу, а теперь, стесняясь отрывать Майнера от работы, стесняясь присутствия голой деблокой женщины, сидевшей в нелепой и неудобной позе, я почувствовал, что не могу вымолвить ни слова о деньгах. Снова и снова пытался я заговорить о своей просьбе, но снова и снова начинал расхваливать картину. Потом натурщица некоторое время отдыхала, взяв на себя ведение разговора, и тихим, расслабленным голосом рассказывала нам о процветающих делах своего мужа, о прискорбном легкомыслии своей сестры и гневе их отца – скопидома-крестьянина из окрестностей Шалона, и, только когда она опять приняла требуемую позу, а я опять откашлялся, собираясь приступить к делу, и опять сказал лишь какую-то банальность о картине, сам Майнер наконец коротко и энергично положил конец моим колебаниям.

– Вы ведь пришли ко мне не для того, чтобы болтать пустяки, – сказал он.

– Да, – ответил я угрюмо, – я пришел занять денег.

Некоторое время он продолжал молча работать, а потом спросил:

– Мы как будто никогда не были особенно близки?

– Благодарю вас, – ответил я, – все понятно.

Кипя от ярости, я сделал шаг к двери.

– Разумеется, вы можете уйти, если хотите, – заметил Майнер, – но я посоветовал бы вам остаться и высказать все.

– О чем нам говорить? – вскричал я. – Зачем вы задерживаете меня, – чтобы подвергать ненужному унижению?

– Послушайте, Додд, вам следовало бы научиться владеть собой, – ответил он. – Вы сами пришли ко мне, я вас не звал. Если вы думаете, что этот разговор мне приятен, вы ошибаетесь, а если вы полагаете, что я одолжу вам деньги, не узнав точно, как вы надеетесь их отдать, значит, вы считаете меня дураком. Кроме того, – добавил он, – подумайте, и вы поймете, что самое худшее осталось позади: вы уже высказали свою просьбу и имеете все основания ожидать, что я отвечу на нее отказом. Я не хочу обманывать вас ложной надеждой, но, может быть, вам все-таки будет полезно дать мне возможность взвесить положение вещей.

Вот так (я чуть было не написал «ободренный») я довольно сбивчиво рассказал ему о своих делах: о том, что я столуюсь в извозничьем трактире, но, судя по всему, там собираются

отказать мне в кредите; что Дижон уступил мне угол своей мастерской, где я пытаюсь лепить эскизы фигур, украшающих часы и подсвечники, – Время с косой, Леду с лебедем, мушкетеров и прочее, – но ни одна из них вплоть до этой минуты никого еще не заинтересовала.

– А как вы платите за комнату? – спросил Майнер.

– Ну, с этим у меня, кажется, все в порядке, – ответил я. – Хозяйка – очень милая и добрая старушка, она ни разу даже не заговаривала со мной о просроченной плате.

– Если она милая и добрая старушка, это еще не основание для того, чтобы ей приходилось терпеть убытки, – заметил Майнер.

– Что вы хотите этим сказать? – вскричал я.

– А вот что, – ответил он. – У французов принято предоставлять в делах большой кредит. Вероятно, такая система окупается, иначе они от нее отказались бы, однако она создана не для иностранцев. По-моему, не слишком честно со стороны нас, англосаксов, пользоваться здешним обычаем, а потом удирать за Ла-Манш или (когда дело касается вас, американцев) за Атлантический океан.

– Но я не собираюсь удирать! – запротестовал я.

– Конечно, – сказал он. – Хотя, пожалуй, именно это вам и следовало бы сделать. На мой взгляд, вы довольно безжалостны к владельцам извозчичьих трактиров. По вашим же собственным словам выходит, что никакого просвета в вашей судьбе не предвидится, и, следовательно, чем дольше вы здесь пробудете, тем дороже это обойдется вашей милой и доброй квартирной хозяйке. Теперь послушайте мое предложение: если вы согласитесь уехать, я куплю вам билет до Нью-Йорка и оплачу оттуда проезд до этого... Маскегона (если я не путаю названия), где жил ваш отец, где, вероятно, у него остались друзья и где, без сомнения, вам удастся найти какое-нибудь занятие. Я не жду от вас благодарности – ведь вы, конечно, считаете меня свиньей; однако я попрошу вас вернуть мне эти деньги, как только вам представится такая возможность. Больше я для вас ничего сделать не могу. Другое дело, если бы я считал вас гением, Додд. Но я так не думаю и вам не советую.

– Мне кажется, без последнего замечания можно было бы и обойтись, – не сдержался я.

– Возможно, – сказал он все тем же ровным, голосом. – Но мне казалось, что оно имеет прямое отношение к делу, а кроме того, вы, попросив у меня денег без всякого обеспечения, позволили себе вольность, допустимую только между близкими друзьями, и дали мне основание ответить вам тем же. Однако речь идет не о том: вы согласны?

– Нет, благодарю вас, – ответил я. – У меня остался еще один выход.

– Очень хорошо, – ответил Майнер. – Однако взвесьте, честен ли он.

– Честен?.. Честен?.. – вскричал я. – По какому праву вы сомневаетесь в моей честности?

– Не буду, если вам это не нравится, – ответил он.

– По-вашему, честность – это что-то вроде игры в жмурки. Я придерживаюсь другого мнения. Просто мы определяем это понятие по-разному.

После этого неприятного разговора, во время которого Майнер ни на минуту не прервал работы над картиной, я отправился в мастерскую к моему бывшему учителю. Это была моя последняя карта, и теперь я решил пойти с нее: я решил снять фрак джентльмена и заниматься отныне искусством в блузе рабочего.

– А, да ведь это наш маленький Додд! – воскликнул мэтр, но тут взгляд его упал на мой потертый костюм, и лицо его как будто омрачилось.

– Мэтр, – сказал я, – не возьмете ли вы меня опять в свою студию, на этот раз в качестве рабочего?

– Но я думал, что ваш отец очень богат, – удивился он.

Я объяснил ему, что мой отец разорился и умер. Он покачал головой.

– У дверей моей студии толпятся рабочие получше, – сказал он. – Намного лучше.

– Прежде вам кое-что нравилось в моих работах, – умоляюще сказал я.

– Кое-что мне в них нравилось, это правда, – ответил он. – Они были неплохи для сына богача, но для бедного сироты они плохи. Кроме того, я полагал, что вы можете выучиться на художника, но не думаю, что вам удастся выучиться на рабочего.

В те времена на одном из бульваров неподалеку от гробницы Наполеона стояла осененная жалким деревцем скамья, с которой открывался вид на грязную мостовую и на глухую стену. На эту-то скамью я и опустился, чтобы обдумать свое ужасное положение. Небо было затянуто сумрачными тучами; за три дня я ел только один раз; мои башмаки промокли насквозь, панталоны были заляпаны грязью. Окружающая обстановка, события последних дней и мое мрачное и унылое настроение прекрасно гармонировали между собой. Я думал о двух людях, которые хвалили мою работу, пока я был богат и ни в чем не нуждался, а теперь, когда я бился в тисках нужды, заявили: «Не гений» и «плохи для сироты», и один из них предложил мне, словно нищему иммигранту, оплатить билет до Нью-Йорка, а другой не пожелал взять меня тесальщиком камня – похвальная прямолинейность с голодным человеком! В прошлом они не кривили душой, были искренни они и сегодня: изменившиеся обстоятельства породили новую оценку, только и всего.

Но хотя я и не сомневался в их искренности, однако отнюдь не собирался признавать их мнение безошибочным. Сколько раз художники, которых долгое время никто не признавал, в конце концов получали возможность посмеяться над своими суровыми критиками! В каком возрасте обрел себя и прославился Коро? На кого в молодости сыпалось больше насмешек (и вполне справедливых), чем на Бальзака, которому я поклонялся? А если этих примеров мне было недостаточно, стоило только повернуть голову, посмотреть туда, где на фоне чернильных туч сверкал золотой купол Дома Инвалидов, и вспомнить историю того, кто под ним покоится, – от дней, когда над молодым лейтенантом артиллерии подтрунивали насмешливые девицы, окрестившие его Котом в сапогах, и до дней бесчисленных корон, и бесчисленных побед, и тысяч пушек, и многотысячной кавалерии, топтавшей дороги потрясенной Европы в восьмидесяти милях впереди Великой армии. Вернуться на родину, сдать, признать себя неудачником, честолюбивым неудачником – бенгальским огнем, от которого осталась только обгоревшая палочка! Я, Лауден Додд, который с презрением отверг все другие профессии, которого в сентджозефовском «Геральде» восхваляли как патриота и художника, вернусь в Маскегон, словно подпорченный товар, и буду со шляпой в руке обходить знакомых моего отца, вымаливая у них местечко уборщика их контор? Нет, клянусь Наполеоном, нет! Я так и умру скульптором, а эти двое людей, отказавшие мне сегодня в помощи, еще будут завидовать моей славе или проливать горькие слезы запоздалого раскаяния над моим нищенским гробом.

Однако, хотя мужество меня не покинуло, я все-таки не знал, как и где раздобыть еду. Неподалеку, за грязной извозчицкой стоянкой, на берегу широкой, залитой грязью мостовой, маня и пугая, виднелся мой трактир. Может быть, меня впустят туда и мне удастся еще раз наполнить там свой желудок, но, может быть, именно этот день окажется роковым и я буду изгнан оттуда после вульгарного скандала. Попытаться все-таки, конечно, стоило, но за это утро моей гордости было нанесено слишком много тяжелых ударов, и я чувствовал, что предпochту голодную смерть возможности получить еще один. Я смело смотрел в будущее, но для настоящего у меня не хватало отваги; я смело шел на битву жизни, но для этого предварительного набега на извозчицкий трактир мне не хватало храбрости. Я продолжал сидеть на скамье неподалеку от места упокоения Наполеона и то погружался в дремоту, то словно начинал бредить, то терял способность соображать, то испытывал животное удовлетворение от возможности сидеть не двигаясь, то принимался с необычайной ясностью думать, планировать, вспоминать, рассказывать себе сказки о падающем с неба богатстве, жадно заказывать и пожирать воображаемые обеды и в конце концов, очевидно, уснул.

Уже темнело, когда меня разбудил холодный дождь, и я, дрожа, вскочил на ноги, снова охваченный муками голода. Мгновение я стоял, ничего не понимая, а в голове у меня вихрем

проносились все мои недавние мысли и сны; снова меня начал неотразимо манить извозчиный трактир и снова мысль о возможном оскорблении удержала меня. «Qui dort dine»,¹⁶ – подумал я и, шатаясь от слабости, побрел домой по мокрым улицам, где уже горели фонари и светились огни витрин. И всю дорогу я продолжал составлять меню воображаемых обедов.

– А, мсье Додд! – сказал швейцар. – Вам было заказное письмо. Почтальон опять принесет его завтра.

Заказное письмо мне, когда я так давно совсем не получал писем? О его содержании у меня не было ни малейшего представления, но я не стал тратить время на догадки и тем более на обдумывание каких-нибудь бесчестных планов – я просто начал лгать так естественно, словно всю жизнь только этим и занимался.

– А! – сказал я. – Наконец-то мне прислали эти деньги! Жаль, что я не успел получить их сегодня. Не одолжите ли вы мне до завтра сотню франков?

До этой минуты я еще ни разу не брал у швейцара взаймы, кроме того, заказное письмо послужило гарантией – и он отдал мне все, что у него было: три наполеондора и несколько франков серебром.

Я небрежно сунул деньги в карман, еще минуту поболтал со швейцаром, медленно вышел из подъезда, а затем со всей быстротой, на какую были способны мои подкашивающиеся ноги, бросился за угол в кафе «Клюни». Французские официанты ловки и проворны, но на этот раз их проворство казалось мне недостаточным, и едва передо мной были поставлены бутылка вина и масло, как я, забыв о приличии, сразу наполнил свой стакан и набил рот. О восхитительный хлеб кафе «Клюни», о восхитительный первый стакан старого бургундского, теплой волной разлившийся по всему моему телу до промокших ног, о неопишуемая первая оливка, снятая с жаркого, – даже в мой смертный час, когда потускнеет светильник сознания, я буду помнить ваш дивный вкус! Дальнейшее течение обеда и весь остальной вечер скрыты в густом тумане – может быть, он был порожден парами бургундского, а может быть, явился результатом пресыщения после долгой голодовки.

Однако я отчетливо помню стыд и отчаяние, охватившие меня на следующее утро, когда я обдумал свой поступок: я обманул честного бедняка швейцара и более того – попросту сжег свои корабли, поставив под угрозу мое последнее убежище, мой чердак. Швейцар будет ждать, что я верну долг, платить мне нечем, начнется скандал, и я хорошо понимал, что виновнику этого скандала придется покинуть дом. «По какому праву вы сомневаетесь в моей честности?» – в бешенстве кричал я Майнеру еще накануне. Ах, этот день накануне! День накануне Ватерлоо, день накануне всемирного потопа – накануне я продал кров над моей головой, мое будущее и мое самоуважение за обед в кафе «Клюни»!

Пока я предавался мучительным размышлениям, почтальон принес пресловутое заказное письмо и с ним спасение от всех угрожавших мне бед. Оно было послано из Сан-Франциско, где Пинкертон уже вел бесчисленные и разнообразные дела: мой друг вторично предлагал выплачивать мне стипендию, которую в связи с его упрочивавшимся финансовым положением он собирался увеличить до двухсот франков в месяц, а на случай, если я окажусь в стесненных обстоятельствах, в письмо был вложен чек на сорок долларов.

Можно найти сотни убедительнейших причин для того, чтобы человек в нашу эпоху, когда каждому следует полагаться только на себя, отклонил предложение, ставящее его в зависимость от другого, но любое число самых веских соображений бессильно перед суровой необходимостью, и не успели банки открыться, как я уже получал деньги по чеку.

Я продал себя в рабство в начале декабря и шесть месяцев влачил все растущую тяжесть цепей благодарности и тревоги. Заняв некоторую сумму, я сумел превзойти себя и затмить Гений Маскегона, создав для Салона небольшого, но крайне патриотичного «Знаменосца». Он

¹⁶ «Кто спит, тот обедает» – французская поговорка.

был принят, простоял там положенное число дней, никем не замеченный, а затем вернулся ко мне, по-прежнему такой же патриотичный. Я всей душой (как выразился бы Пинкертон) предался часам и подсвечникам, но подлецу литейщику не нравились мои эскизы. Даже когда Дижон, человек чрезвычайно добродушный и чрезвычайно презиравший такую ремесленную работу, соглашался продать их вместе со своими, литейщики сразу отбирали мои и отказывались от них. И они возвращались ко мне, верные, как «Знаменосец», который во главе целого полка истуканов поменьше мозолил нам глаза в углу крохотной мастерской моего друга. Мы с Дижоном часами смотрели на эту коллекцию разнообразных фигур. Здесь были представлены все стили – строгий, игривый, классический и стиль Людовика Пятнадцатого, – а также все мыслимые персонажи – от Жанны д'Арк в воинственной кольчуге до Леды с лебедем; более того – да простит мне бог! – комический жанр тоже имел своих представителей. Мы смотрели на них, мы критиковали их, поворачивали и так и сяк – даже при самом тщательном осмотре приходилось признать, что это статуэтки как статуэтки, и, однако, никто не соглашался брать их и даром!

Тщеславие умирает нелегко. В некоторых случаях оно переживает самого человека, но примерно на шестом месяце, когда я был должен Пинкертону около двухсот долларов, и еще сто различным людям в Париже, я проснулся как-то утром в страшно угнетенном настроении и обнаружил, что остался один – мое тщеславие за ночь испустило дух. Я не осмеливался глубже погрузиться в трясину; я перестал возлагать надежды на мои бедные творения; я наконец признал свое поражение и, усевшись в ночной рубашке на подоконник, откуда мне были видны верхушки деревьев на бульваре, и с удовольствием прислушиваясь к музыке просыпающегося города, написал письмо – мое прощание с Парижем, искусством, со всей моей прежней жизнью, со всей моей прежней сущностью.

«Сдаюсь, – писал я. – Как только получу следующий чек, поеду прямо на Дальний Запад, и там можешь делать со мной что хочешь».

Следует сказать, что Пинкертон с самого начала, сам того не сознавая, всячески старался заставить меня приехать к нему: он описывал свое одиночество среди новых знакомых («ни один из которых не обладает твоей культурой»), изливался в таких горячих дружеских чувствах, что это меня смущало – ведь я не мог отплатить ему тем же, – жаловался, как трудно ему без помощника, и тут же принимался хвалить мою решимость и уговаривать меня остаться в Париже.

«Только помни, Лауден, – снова и снова писал он, – что, если он тебе все-таки надоест, здесь тебя ждет большая работа – честная, трудная, приносящая хороший доход работа: ты будешь способствовать развитию ресурсов этого штата, пребывающего пока в первозданном состоянии. И, конечно, мне незачем писать, как я буду рад, если мы станем заниматься этим вместе, плечом к плечу». Вспоминая то время, я дивлюсь, как у меня вообще хватало духа противостоять этим призывам и упорно тратить деньги моего друга, хотя мне и было известно, что моя манера расходовать их ему не по душе. Во всяком случае, осознав свое положение, я осознал его полностью и решил не только следовать в будущем советам Пинкертона, но и возместить убытки, понесенные им из-за меня в прошлом. Я припомнил, что у меня еще остались кое-какие возможности, и решил посетить семейство Лауденов в древнем городе Эдинбурге.

И вот я, пользуясь не очень изящным выражением, наострил лыжи – поступок довольно неблагоприятный, но зато совершенный без особых затруднений. Поскольку у меня не было никаких вещей, которые стоило бы брать с собой, я покинул свое имущество без малейшего сожаления. Дижон унаследовал «Жанну д'Арк», «Знаменосца» и мушкетеров. Вместе с ним я купил чемодан и кое-какие необходимые в дороге вещи, и тут же, у дверей магазина, мы расстались, так как свои последние часы в Париже я хотел провести в одиночестве. И вот в одиночестве я заказал свой прощальный обед (гораздо более роскошный, чем позволяли мои финансы); в одиночестве купил билет на вокзале Сен-Лазар; в полнейшем одиночестве, хотя вагон был

переполнен, смотрел я на залитую лунным светом Сену, усеянную маленькими островками, на шпили руанского собора, на корабли в гавани Дьеппа. Когда первые лучи зари пробудили меня на палубе пакетбота от беспокойного сна, я с удовольствием встретил рассвет, с удовольствием смотрел, как из розовой дымки встают зеленые берега Англии; с восторгом вдыхал соленый морской воздух – и тут вдруг вспомнил: я более не художник, я перестал быть самим собой, я расстался со всем, что мне было дорого, и возвращаюсь к тому, что всегда презирал, возвращаюсь рабом долгов и благодарности, безнадежным неудачником.

Неудивительно, что от этой картины моих несчастий и позора мысль моя с облегчением обратилась к Пинкертому, питавшему ко мне, как я знал, прежнюю горячую дружбу и уважение, которые я ничем не заслужил и поэтому мог надеяться сохранить навсегда. Неравенство в наших отношениях вдруг остро меня поразило: я был бы безнадежно туп, если бы мог думать об истории нашей дружбы без стыда: ведь я давал так мало, а брал и принимал так много! Мне предстояло целый день пробыть в Лондоне, и я решил (хотя бы на словах) установить некоторое равновесие. Усевшись в углу кафе и требуя все новые листы бумаги, я изливал в письме свою благодарность и раскаяние, давал обещания на будущее. До сих пор, писал я, вся моя жизнь была проникнута эгоизмом. Я был эгоистичен по отношению к моему отцу и к моему другу, принимал их помощь и ничем за нее не платил, лишая их даже такого пустяка (хотя большего они и не требовали!), как мое общество.

Какую силу утешения таит в себе написанное слово! Едва это послание было закончено и отправлено, как сознание собственной добродетели согрело меня, точно хорошее вино.

Глава VI, в которой я отправляюсь на дальний запад

На следующее утро я уже подъезжал к дому моего дяди, как раз вовремя, чтобы позавтракать со всей семьей. Почти никаких перемен не произошло здесь за три года, протекших с тех пор, как я впервые сел за этот стол юным американским студентом, который совсем растерялся, глядя на неведомые яства – копченую треску, копченую лососину, копченую баранину, – и тщетно ломал голову, стараясь догадаться, что скрывается под пышной юбкой куклы на подносе. Единственное изменение можно было заметить только в том, что ко мне стали относиться с большим уважением. С подобающей грустью была упомянута кончина моего отца, а потом вся семья поспешила заговорить на более веселую тему (о господи!) – о моих успехах. Им было так приятно услышать обо мне столько хорошего; я стал настоящей знаменитостью; а где сейчас находится эта прекрасная статуя Гения... Ну, Гения какого-то места? «Вы ее, правда, не захватили с собой? Неужели?» – потряхивая кудрями, спросила самая кокетливая из моих кузин, словно предполагая, что я привез свое творение с собой и просто прячу его в кармане, как подарок ко дню рождения. Это семейство, не искушенное в тропических ураганах газетной чепухи Дальнего Запада, свято поверило «Санди Геральду» и болтовне бедняги Пинкертон. Трудно придумать другое обстоятельство, которое могло бы подействовать на меня столь же угнетающе, и до конца завтрака я вел себя, как наказанный школьник.

Когда и завтрак и семейные молитвы подошли к концу, я попросил разрешения побеседовать с дядей Эдамом «о состоянии моих дел»; При этой зловещей фразе лицо моего почтенного родственника заметно вытянулось, а когда дедушка наконец расслышал, о чем я прошу (старик был глуховат), и выразил желание присутствовать при нашем разговоре, огорчение дяди Эдама совершенно явно сменилось раздражением. Однако все это внешне почти не проявилось, и, когда он с обычной угрюмой сердечностью выразил свое согласие, мы втроем перешли в библиотеку – весьма мрачное обрамление для предстоящего неприятного разговора. Дедушка набил табаком свою глиняную трубку и устроился курить рядом с холодным камином – окна позади него были полуоткрыты, а шторы полуопущены, хотя утро было холодное и сумрачное; не могу описать, насколько не соответствовал он всей этой обстановке. Дядя Эдам занял свое место за письменным столом посредине. Ряды дорогих книг зловеще смотрели на меня, и я слышал, как в саду чирикают воробьи, а кокетливая кузина уже барабанит на рояле и оглашает дом заунывной песней в гостиной над моей головой.

И вот, по-мальчишески уставившись в пол и стараясь говорить как можно короче, я сообщил моим родственникам о своем финансовом положении – о том, сколько я задолжал Пинкертону, о том, что я не могу зарабатывать себе на жизнь как скульптор, о том, чем я намерен заниматься в Штатах, и о том, как я решил прежде, нежели еще задолжать человеку постороннему, сообщить обо всем этом своим родным.

– Могу только пожалеть, что ты не обратился ко мне с самого начала, – сказал дядя Эдам. – Смею сказать, это выглядело бы более прилично.

– Согласен с вами, дядя Эдам, – ответил я, – но ведь я не знал, как вы посмотрите на мою просьбу.

– Надеюсь, я не способен повернуться спиной к своему племяннику! – воскликнул он с горячностью, но в его тоне, к которому я тревожно прислушивался, прозвучало скорее раздражение, чем родственное чувство. – Неужели я мог бы забыть, что ты сын моей сестры? Я считаю, что помочь тебе – мой прямой долг, и я его исполню.

Мне оставалось только пробормотать:

– Благодарю вас.

– Да, – продолжал он. – И можно усмотреть руку провидения в том, что ты приехал именно сейчас. В фирме, где я когда-то служил, открылась вакансия; теперь ее владельцы величают себя «Итальянские оптовики»; можешь считать, что тебе повезло, – добавил он, чуть улыбнувшись, – в мое время это были простые бакалейщики. Я сведу тебя туда завтра же.

– Погодите минутку, дядя Эдам, – перебил я. – Ведь я прошу вас совсем о другом. Я прошу вас вернуть Пинкертону, человеку небогатому, его деньги. Я прошу вас помочь мне распутаться с долгами, а не устраивать за меня мою жизнь.

– Если бы я хотел быть резким, я мог бы напомнить тебе, что нищим выбирать не положено, – возразил мой дядя, – кроме того, ты уже видел, что получилось, когда ты сам устраивал свою жизнь. Теперь тебе следует положиться на советы тех, кто старше и – что бы ты об этом ни думал – умнее тебя. Все эти планы твоего приятеля, о котором, кстати говоря, я ничего не знаю, и болтовню о возможностях, открывающихся перед тобой на Дальнем Западе, я просто оставляю без внимания. Я не могу допустить, чтобы ты отправился через всю Америку в погоне за мыльным пузырем. Приняв место, которое я, по счастью, могу тебе предложить и за которое многие молодые люди ухватились бы с величайшей радостью, ты будешь получать для начала целых восемнадцать шиллингов в неделю.

– Восемнадцать шиллингов в неделю! – вскричал я. – Да ведь мой бедный друг давал мне больше, ничего не получая взамен!

– Если не ошибаюсь, именно этому другу ты хотел бы теперь возратить свой долг, – заметил дядя с видом человека, выдвигающего неопровержимый довод.

– Эда-ам! – сказал мой дедушка.

– Мне крайне неприятно, что вам пришлось присутствовать при этом разговоре, – произнес дядя Эдам, с угодливым видом поворачиваясь к каменщику, – но ведь вы сами так захотели.

– Эда-ам! – повторил старик.

– Я слушаю вас, сударь, – сказал дядя.

Дедушка несколько секунд просидел молча, попыхивая трубкой, а затем сказал:

– Смотреть на тебя противно, Эдам!

Было заметно, что дядя обиделся.

– Мне очень грустно, если вы так думаете, – заметил он, – и тем более грустно, что вы сочли возможным сказать это в присутствии третьего лица.

– Оно, конечно, так, Эдам, – сухо отрезал старик, – да только мне на это почему-то наплевать. Вот что, малый, – продолжал он, обращаясь ко мне, – я твой дед, так, что ли? А Эдама ты не слушай. Я пригляжу, чтобы тебя не обидели. Я ведь богат.

– Папа, – сказал дядя Эдам, – мне хотелось бы поговорить с вами наедине.

Я встал и направился к дверям.

– Сиди, где сидел! – крикнул мой дед, приходя в ярость. – Если Эдаму хочется поговорить, пусть говорит. А все деньги здесь мои, и я заставлю, чтобы меня слушались!

После такого предисловия у дяди Эдама явно пропала охота говорить: ему дважды предлагалось «выложить, что у него на душе», но он угрюмо отмалчивался, причем должен сказать, что в эту минуту мне было его искренне жаль.

– Вот что, сынок моей Дженни, – сказал наконец дедушка. – Я собираюсь поставить тебя на ноги. Твою мать я всегда любил больше, потому что с Эдамом каши не сварить. Да и ты сам мне нравишься, голова у тебя работает правильно, рассуждаешь ты, как прирожденный строитель, а кроме того, жил во Франции, а там, говорят, знают толк в штукатурке. А это – первое дело, особенно для потолков; небось, по всей Шотландии не найдешь строителя, который больше меня пускал бы ее в ход. А хотел я сказать вот что: если с капиталом, который я тебе дам, ты займешься этим ремеслом, то сумеешь стать богаче меня. Ведь тебе полагается

доля после моей смерти, а раз она понадобилась тебе теперь, ты по справедливости получишь чуток поменьше.

Дядя Эдам откашлялся.

– Вы очень щедры, папа, – сказал он, – и Лауден, конечно, это понимает. Вы поступаете, как сами выразились, по справедливости; но, с вашего разрешения, не лучше ли было бы оформить все это письменно?

Тлевшая между ними вражда чуть не вырвалась наружу при этих не вовремя сказанных словах. Каменщик быстро повернулся к сыну, оттопырив нижнюю губу, словно обезьяна. Несколько мгновений он глядел на него в злобном молчании, а потом сказал:

– Позови Грегга!

Эти слова произвели видимый эффект.

– Он, наверное, уже ушел в контору, – пробормотал дядя Эдам.

– Позови Грегга! – повторил дед.

– Да говорю же вам, что он ушел в контору, – настаивал Эдам.

– А я тебе говорю, что он сидит в саду, как всегда, и покуривает, – отрезал старик.

– Очень хорошо! – воскликнул дядя и быстро вскочил, словно что-то сообразив. – В таком случае я сам за ним схожу.

– Нет, не сходишь! – крикнул дедушка. – Сиди, где сидел!

– Так как же, черт побери, я смогу его позвать? – огрызнулся дядя с вполне простительным раздражением.

Дедушка (которому на это возразить было нечего) посмотрел на своего сына со злорадной мальчишеской усмешкой и позвонил в колокольчик.

– Возьмите ключ от садовой калитки, – сказал дядя Эдам слуге, – пройдите в сад и, если мистер Грегг, нотариус, там (он обычно сидит под старым боярышником), передайте ему, что мистер Лауден-старший просит его зайти к нему.

Мистер Грегг, нотариус! Тут я наконец понял скрытый смысл слов моего деда и причину тревоги бедного дяди Эдама. Речь, оказывается, шла о завещании старого каменщика.

– Послушайте, дедушка, – сказал я, – ничего этого мне не надо. Я просто хотел попросить займы фунтов двести. Я могу позаботиться о себе сам; у меня есть надежды и верные друзья в Штатах...

Старик отмахнулся от меня.

– Разговаривать буду я! – сказал он резко.

И мы в молчании с, тали ожидать прихода нотариуса. Наконец он появился – суровый человек в очках, но с довольно симпатичным лицом.

– А, Грегг! – воскликнул каменщик. – Ответьте-ка мне на один вопрос: какое отношение имеет Эдам к моему завещанию?

– Боюсь, я не совсем вас понял, – ответил нотариус с некоторой растерянностью.

– Какое он имеет к нему отношение? – повторил старик, ударяя кулаком по ручке своего кресла. – Чьи это деньги – мои или Эдама? Имеет он право вмешиваться?

– А, понимаю, – ответил мистер Грегг. – Разумеется, нет. Вступая в брак, и ваша дочь и ваш сын получили определенную сумму и приняли ее по всем правилам закона. Вы, конечно, помните об этом, мистер Лауден?

– Так что, коли мне захочется, – произнес мой дед, отчеканивая каждое слово, – я могу оставить все свое имущество хоть Великому Моргалу? (Очевидно, он имел в виду Великого Могола.)

– Разумеется, – ответил Грегг с легкой улыбкой.

– Слышишь, Эдам? – спросил старик.

– Разрешите заметить, что мне ни к чему было это слышать, – ответил тот.

– Ну и ладно, – объявил дед. – Вы с сыном Дженни отправляйтесь погулять, а нам с Греггом надо обсудить одно дельце.

Когда я снова оказался в зале наедине с дядей Эдамом, я повернулся к нему, весьма расстроенный, и сказал:

– Дядя Эдам, я думаю, мне незачем говорить вам, как все это для меня тяжело.

– Да, мне очень грустно, что тебе пришлось увидеть своего деда в столь новом для тебя свете, – ответил этот необыкновенный человек. – Впрочем, пусть это тебя не расстраивает. Он обладает многими высокими достоинствами и оригинальным характером. Я твердо уверен, что он щедро тебя обеспечит.

Подражать его невозмутимости у меня не хватило сил. Я не мог долее оставаться в этом доме, ни даже обещать, что я в него вернусь. В результате мы договорились, что через час я зайду в контору нотариуса, которого (когда он выйдет из библиотеки) дядя Эдам предупредит об этом. Полагаю, трудно придумать более запутанное положение: могло показаться, что это мне нанесен тяжелый удар, а облаченный в непроницаемую броню Эдам – великодушный победитель, который не пожелал воспользоваться своим преимуществом.

Можно было не сомневаться, что я получу какие-то деньги, но сколько и на каких условиях, я должен был узнать только через час, а пока мне оставалось лишь размышлять об этом, бродя по широким пустынным улицам нового города, советуясь со статуями Георга IV и Уильяма Питта, любясь поучительными картинами в витрине магазина нот и возобновляя свое знакомство с эдинбургским восточным ветром. К концу этого часа я направился в контору мистера Грегга, где мне после надлежащего вступления был вручен чек на две тысячи фунтов и небольшой сверток с трудами по архитектуре.

– Мистер Лауден просил меня также сообщить вам, – добавил нотариус, заглянув в свои записи, – что хотя эти труды очень полезны для строителя-практика, вам следует остерегаться, чтобы не утратить оригинальности. Он советует вам также не «ходить на поводу» – это его собственное выражение – у теории деформации и помнить, что портландского цемента, если к нему добавить песок в правильной пропорции, хватит надолго.

Я улыбнулся и ответил, что, вероятно, его действительно хватит надолго.

– Мне как-то пришлось жить в доме, выстроенном моим уважаемым клиентом, – заметил нотариус, – и у меня создалось впечатление, что дальше некуда.

– В таком случае, сэр, – ответил я, – вы будете рады услышать, что я не собираюсь стать строителем.

Тут он засмеялся, лед был сломан, и я получил возможность посоветоваться с ним о своих дальнейших действиях. Он утверждал, что мне следует вернуться в дом дяди пообедать, а потом отправиться на прогулку с дедом.

– На вечер, если хотите, я могу вас освободить, – добавил он, – пригласив поужинать со мной по-холостяцки. Но ни от обеда, ни от прогулки уклоняться вам не следует. Ваш дед стар и, кажется, очень к вам привязан. Его, разумеется, огорчит мысль, что вы его избегаете. Что же касается мистера Эдама, то тут, я думаю, ваша деликатность излишня... Ну, а теперь, мистер Додд, как вы намерены распорядиться своими деньгами?

Как – в этом-то и был вопрос. Получив две тысячи фунтов, то есть пятьдесят тысяч франков, я мог бы вернуться в Париж к моему любимому искусству и жить в бережливом Латинском квартале, как миллионер. Кажется, у меня хватило совести порадоваться, что я отослал уже упоминавшееся лондонское письмо, однако я ясно помню, как все худшее во мне заставляло меня горько каяться, что я слишком поспешил с его отсылкой. Тем не менее, несмотря на противоречивость моих чувств, одно было твердо и несомненно: раз письмо отослано, я обязан ехать в Америку. И вот мои деньги были разделены на две неравные части – под первую мистер Грегг выдал мне аккредитив на имя Дижона, чтобы тот мог заплатить мои парижские

долги, а на вторую, поскольку у меня была кое-какая наличность на ближайшие расходы, он вручил мне чек на банк в Сан-Франциско.

Остальное время моего пребывания в Эдинбурге, если не считать очень приятного ужина с нотариусом и ужасающего семейного обеда, я потратил на прогулку с каменщиком, который на этот раз не повел меня любоваться творениями своих старых рук, а, повинувшись естественному и трогательному порыву, решил показать мне вечное жилище, избранное им для своего последнего упокоения. Оно находилось на кладбище, которое благодаря какой-то странной случайности оказалось внутри тюремного вала и было к тому же расположено на самом краю утеса, усеянного старыми могильными плитами и надгробиями и покрытого зеленой травой и плющом. Восточный ветер (показавшийся мне слишком резким и холодным для старика) заставлял непрерывно трепетать ветви деревьев, и неяркое солнце шотландского лета рисовало на земле их пляшущие тени.

– Я хотел, чтобы ты побывал здесь, – сказал дед. – Вон видишь камень. «Юфимия Росс» – это была моя хозяйка, твоя бабушка... Тьфу! Перепутал: она была моей первой женой, и детей у нас не было, а твоя бабка вот: «Мэри Меррей, родилась в 1819 году, скончалась в 1850 году». Хорошая была женщина, без всяких глупостей, что там ни говори. «Александр Лауден, родился в 1792 году, скончался...», а дальше пусто: это обо мне. Меня ведь звать Александр. Когда я был мальчишкой, меня называли Эки. Эх, Эки, каким же ты стал дряхлым стариком!

Очень скоро мне пришлось снова нанести визит на кладбище, и гораздо более грустный. Случилось это в Маскегоне, над которым уже возвышался одетый – в леса купол нового капитолия. Я приехал под вечер. Моросил дождь, и, проходя по широким улицам, самые названия которых были мне незнакомы, где мимо меня, звеня, пронеслись ряды конок, над головой сплетались сотни телеграфных и телефонных проводов, а по сторонам вздымались громады ярко окрашенных и все же угрюмых зданий, я с тоской вспоминал улицу Расина, и даже мысль об извозчище трактире вызвала слезы на моих глазах. За время моего отсутствия этот скучный город так разросся – можно даже сказать, раздулся, – что мне то и дело приходилось спрашивать дорогу у прохожих, и даже кладбище оказалось с иголки новым. Однако смерть не дремала, и могил там было уже много. Я бродил под дождем среди пышных и безвкусных склепов миллионеров и скромных черных крестов над могилами рабочих-иммигрантов, пока случайность – а может быть, инстинкт – не привела меня к последнему месту упокоения моего отца. Памятник над ним был воздвигнут, как я уже знал, «его восторженными почитателями». Одного взгляда мне оказалось достаточно, чтобы создать суждение об их художественном вкусе, и, без труда представив, каким должен быть их литературный вкус, я остерегся подойти ближе к монументу и прочесть надпись. Однако имя «Джеймс К. Додд» было вырезано крупными буквами и сразу бросилось мне в глаза. Какая странная вещь – имя, подумал я, как оно прилипает к человеку, представляет его в неверном свете, а затем переживает его. И тут с горькой улыбкой я вспомнил, что не знаю – и теперь никогда не узнаю, – какое слово скрывается за этим «К». Кинг, Килтер, Кей, Кайзер – перебирал я наугад имена и, наконец, переиначив «Герберга» в «Керберга», чуть не рассмеялся вслух. Никогда еще я так не ребячился – наверное, потому, что (хотя все мои чувства, казалось, омертвели) никогда еще я не был так глубоко потрясен. Но после того как мои нервы сыграли со мной такую шутку, я, испытывая глубочайшее раскаяние, поспешил удалиться с кладбища.

Столь же похоронными были и все мои остальные впечатления от Маскегона, в котором я пробыл еще несколько дней, навещая друзей и знакомых отца. Я задержался в Маскегоне из благоговения перед его памятью и мог бы избавиться себя от этого испытания, ибо он был уже совершенно забыт. Правда, ради него меня принимали радушно, а ради меня некоторое время поддерживался неловкий разговор о его редких добродетелях. Бывшие товарищи отца, беседуя со мной, тепло вспоминали о его деловых талантах, о его щедрых взносах на общественные нужды, а стоило мне отойти, как они мгновенно о нем забывали. Мой отец любил меня, а я его

покинул, и он жил и умер среди людей равнодушных к нему; вернувшись, я нашел только его забытую могилу. Мое бесплодное раскаяние претворилось в новое решение: еще один человек любит меня – Пинкертон. Я не должен дважды совершать одну и ту же ошибку.

В Маскегоне я задержался примерно на неделю, не известив об этом моего приятеля. И вот, когда я пересел в Каунсил-Блафф на другой поезд, в вагон ворвался посыльный с телеграммой в руке, громогласно вопрошая, нет ли среди пассажиров «Лондона Додда». Решив, что имена почти сходятся, я предъявил свои права на телеграмму. Она была от Пинкертона: «Какого числа ты приезжаешь, страшно важно». Я послал ему депешу с указанием дня и часа и в Огдене получил ответ: «Отлично. Испытываю невероятное облегчение. Встречу тебя в Сакраменто». В Париже я придумал тайное прозвище Пинкертону – в минуты горечи я называл его «Неукротимым», и именно это слово прошептали теперь мои губы. Какую авантюру затеял он теперь? Какую чашу испытаний готовило мое доброжелательное чудовище своему Франкенштейну? В какой лабиринт событий попаду я, оказавшись на тихоокеанском побережье? Мое доверие к Пинкертону было абсолютным, мое недоверие к нему – непоколебимым. Я знал, что намерения его всегда были наилучшими, но не сомневался, что поступит он, с моей точки зрения, обязательно не так, как надо.

Полагаю, что эти смутные опасения окрасили в мрачные тона и без того угрюмые пейзажи за окнами вагона, где хмурились Небраска, Вайоминг, Юта, Невада, словно желая прогнать меня обратно на мою вторую родину, в Латинский квартал. Но, когда Скалистые горы остались позади и поезд, так долго пыхтевший на крутых подъемах, понесся вниз по склону, когда я увидел плодороднейшую область, простирающуюся от лесов и голубых гор до океана, увидел необозримые поля волнующейся кукурузы, рощи, чуть колышимые летним ветерком, деревенских мальчишек, осаждающих поезд, предлагая инжир и персики, мое настроение сразу поднялось. Забота спала с моих плеч, и когда в толпе на перроне в Сакраменто я увидел моего Пинкертона, то, забыв все, кинулся к нему – к самому верному из друзей.

– Лауден! – закричал он. – Как я по тебе стосковался! И ты приехал как раз вовремя. Тебя здесь знают и ждут. Я уже устроил тебе рекламу, и завтра вечером ты читаешь лекцию «Жизнь парижского студента: его занятия и развлечения». Тысяча двести билетов разошлись все до единого... Но как же ты исхудал! Нука, хлебни вот этого. – И он извлек из кармана бутылку с удивительнейшей этикеткой: «Пинкертоновский коньяк Золотого Штата, тринадцать звездочек, лицензированный».

– Господи! – воскликнул я, закашлявшись после глотка этой огненной жидкости. – А что означает «лицензированный»?

– Да неужели ты этого не знаешь, Лауден? – удивился Пинкертон. – Отличное выражение, которое можно увидеть на любом старинном кабачке.

– Но, если не ошибаюсь, там оно означает совсем другое и относится к заведению, а не к продаваемым в нем напиткам.

– Возможно, – ответил Джим, нимало не смущаясь. – Однако это слово очень эффектно и дало ход напитку – он теперь расходуется ящиками. Кстати, надеюсь, ты не рассердишься: в связи с лекцией я расклеил по всему Сан-Франциско твои портреты с подписью: «Лауден Додд, американо-парижский скульптор». Вот образец афишки для раздачи на улицах, а стенные афиши точно такие же, только набраны крупным шрифтом, синим и красным.

Я взглянул на афишку, и у меня потемнело в глазах. Слова были бесполезны. Как я мог растолковать Пинкертону, насколько ужасно это сочетание «американопарижский», когда он не замедлил указать мне на него и объяснить:

– Очень удачное выражение – сразу раскрывает обе стороны вопроса. Я хотел, чтобы лекция отвечала именно такому требованию.

Даже когда мы добрались до Сан-Франциско, и я, не выдержав зрелища расклеванных повсюду изображений моей физиономии, разразился потоком негодующих слов, Пинкертон не понял, чем я недоволен.

– Если бы я только знал, что ты не любишь красных букв! – был единственный вывод, который он сделал из моей речи. – Ты совершенно прав: четкая черная печать гораздо предпочтительнее и сильнее бросается в глаза. Вот с портретом ты меня огорчил – признаюсь, я думал, он получился очень удачно. Честное слово, мне страшно неприятно, что все так вышло, мой дорогой. Теперь я понимаю, ты, конечно, имел право ожидать совсем другого. Но ведь я старался сделать как лучше, Лауден, и все репортеры в восторге.

Тут я перешел к самому главному:

– Послушай, Пинкертон, из всех твоих сумасшедших выдумок эта лекция – самая сумасшедшая. Как я успею подготовить ее за тридцать часов?

– Все сделано, Лауден, – ответил он с торжеством, – лекция готова. Она лежит уже отпечатанная в ящике моего письменного стола. Я пригласил для этого самого талантливого литератора Сан-Франциско – Гарри Миллера, лучшего репортера города.

И он, не слушая моих робких возражений, продолжал болтать, описывая мне свои сложные деловые предприятия, перечислял своих новых знакомых, то и дело сожалея, что не может тут же на месте представить мне какого-нибудь «чудеснейшего парня, первоклассного дельца», а у меня при одной мысли об этом знакомстве по спине пробегала дрожь.

Ну, со всем этим я должен был смириться: смириться с Пинкертоном, смириться с портретом, смириться с заранее напечатанной лекцией. Мне, правда, удалось вырвать у него обещание никогда в дальнейшем не давать от моего имени обязательств, не поставив меня об этом в известность. Но я тут же раскаялся в своем требовании, заметив, как удивило и обескуражило оно Неукротимого, и побрел без жалоб за его триумфальной колесницей. Я назвал его «Неукротимым». Вернее было бы сказать «Неотразимый».

Но все это и в сравнение не шло с тем, что я испытал, просмотрев лекцию Гарри Миллера. Он оказался большим остряком, питал пристрастие к несколько вольным шуткам, которые вызывали у меня тошноту, и вместе с тем, описывая гризеток и голодающих гениев, впадал в слащавый или даже мелодраматический тон. Я понял, что материалом ему служила моя переписка с Пинкертоном, ибо иногда наткнулся на описание своих собственных приключений, только искаженных до неузнаваемости, а также своих мыслей и чувств, но в таком преувеличенном изложении, что мне оставалось только краснеть. Надо отдать Гарри Миллеру справедливость, он действительно обладал своеобразным талантом, чтобы не сказать гением – все попытки умерить его тон оказались бесплодными, он был неизгладим. Более того, у этого чудовища был определенный ярко выраженный стиль – или отсутствие стиля, – так что любая моя вставка отчаянно дисгармонировала со всем остальным и обедняла (если только это было возможно) общий эффект.

За час до лекции я пообедал в ресторанчике «Пудель» со своим агентом – так было угодно Пинкертону величать себя. Оттуда он, как быка на бойню, повел меня в зал, где я оказался лицом к лицу со всем Сан-Франциско, и притом в полном одиночестве, если не считать стола, стакан с водой и отпечатанной на машинке рукописи, творцом которой был Гарри Миллер и немножко я. Я начал читать ее вслух – у меня не было ни времени, ни желания выучивать всю эту чепуху наизусть. Читал я торопливо, монотонно, всем своим видом показывая, как мне стыдно. Порой, когда я встречался взглядом с чьими-нибудь умными глазами или вдруг наткнулся на особо сочный образчик миллеровского остроумия, я запинаясь и некоторое время что-то бормотал еле слышным голосом. Слушатели зевали, ерзали, шептались, ворчали и наконец принялись выкрикивать: «Громче! Ничего не слышно!» Я начал пропускать страницы и, плохо зная материал, почти каждый раз оказывался в середине фразы, не имевшей ничего общего с предыдущей. Но эти неувязки ни у кого не вызывали смеха, что показалось

мне весьма зловещим знаком. По правде сказать, я начинал бояться худшего и почти не сомневался, что мне вскоре будет нанесено оскорбление действием, когда вдруг ощутил, насколько все это смешно. Я чуть было не расхохотался, и, когда мне опять крикнули, чтобы я читал громче, я в первый раз улыбнулся своим слушателям.

– Отлично, – сказал я. – Я попробую читать громче, хотя, по-моему, никому не хочется меня слушать, что, впрочем, и неудивительно.

После чего и аудитория и лектор принялись хохотать и хохотали до слез. Моя импровизированная острота была вознаграждена громовыми и продолжительными аплодисментами. Затем, пропустив три страницы, я весело заметил:

– Вот видите, я пропускаю все, что возможно.

После чего уважение ко мне зрителей чрезвычайно возросло, и, когда я наконец сошел с эстрады, мне вслед смеялись, стучали ногами, кричали и махали шляпами.

Пинкертон сидел за кулисами и что-то лихорадочно записывал в свой блокнот. Едва увидев меня, он вскочил на ноги, и я с удивлением заметил, что по его щекам текут слезы.

– Мой дорогой! – вскричал он. – Я себе этого никогда не прощу, и ты меня не простишь! Ну, да ладно. Я же хотел, как лучше. А с каким мужеством и благородством ты довел ее до конца! Я ведь боялся, что нам придется вернуть деньги.

– Так было бы честнее всего, – ответил я.

Тут к нам подошли репортеры во главе с Гарри Миллером, и я не без изумления обнаружил, что, в общем, все они люди очень приятные, и даже Гарри Миллер как будто человек вполне порядочный. Я потребовал устриц и шампанского (лекция принесла нам солидную сумму) и, поскольку мое нервное напряжение требовало разрядки, принялся шутить, да так, что все они непрерывно хохотали. С необычайным подъемом я описывал свое бдение над литературными трудами Гарри Миллера и гамму чувств, которые я испытал на эстраде. Мои соотрапезники наперебой клялись, что я душа общества и царь всех лекторов, и – столь удивительна сила печати – если бы вы прочли отчеты о моей лекции, появившиеся на следующий день в газетах, то вообразили бы, что она прошла удивительно удачно.

Вечером, возвращаясь домой, я был в превосходном настроении, но приунывший Пинкертон огорчился за двоих.

– Ах, Лауден, – сказал он, – я никогда себе этого не прощу! Сообразив, что мысль об этой лекции тебе неприятна, я должен был бы прочесть ее сам.

Глава VII

Дела идут полным ходом

Телесная пища глупца и мудреца, слона и воробышка не так уж различна – одни и те же химические элементы, лишь облеченные в различную форму, поддерживают жизнь всех обитателей земли. Немного понаблюдав Пинкертона в его новой обстановке, я убедился, что это правило применимо и к тем мыслительным процессам, с помощью которых мы извлекаем из жизни радость. Начитавшийся Майн Рида мальчуган, сжимая в руках игрушечное ружье, крадется по воображаемым лесам – и точно так же Пинкертона, шествуя по Кирни-стрит в свою контору, чувствовал, что жизнь его полна жгучего интереса, а случайная встреча с миллионером преисполняла его счастьем на долгие часы. Его романтикой была реальность, он гордился своим занятием, он наслаждался деловой жизнью. Представьте себе, что кто-нибудь наткнулся у Коромандельского берега на затонувший галион и, пока его шхуна лежит в дрейфе, отмеряет под грохот прибоя золотые слитки ведрами при свете горящих обломков; но, хотя этот человек, несомненно, окажется владельцем неизмеримо большего богатства, ему не испытать и половины того романтического волнения, с которым Пинкертона подводил в пустой конторе свой еженедельный баланс. Каждый нажитый доллар был словно сокровище, извлеченное из таинственной морской пучины, каждая сделка – словно прыжок искателя жемчуга в волны, а когда Пинкертона предпринимал биржевые операции, он с восторгом чувствовал, что сотрясает самые столпы современной жизни, что в самых дальних странах люди, словно по боевому кличу, принимаются за дело, а золото в сейфах миллионеров содрогается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.